

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 4

1986



Дмитрий ИВАНОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ПОЖАРЫ В СОСНОВКЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 4

Дмитрий ИВАНОВ

ПОЖАРЫ В СОСНОВКЕ

Статьи

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Дмитрий ИВАНОВ

Дмитрий Константинович Иванов родился в 1937 году в Москве. Окончил Московский энергетический институт и Литературный институт имени А. М. Горького. С 1974 года выступает как литературный критик, автор книг «Требуется мужество» и «Контуры жизни».

ПОЖАРЫ В СОСНОВКЕ

Такого героя, каким в последней повести Валентина Распутина «Пожар» («Наш современник» № 7, 1985), предстает Иван Петрович Егоров, у писателя еще не было.

Была в «Прощании с Матерой» старуха Дарья, которую тоже тянуло думать о старом и новом, о вечном и нынешнем, искать ответы на самые насущные, глубинные вопросы, рожденные ходом жизни, и которая не страшилась перед любым сказать в открытую то, что считала правдой. В «Живи и помни» была Настена, которая, чтобы не загубить совести и души своей, тоже способна и в конце концов решилась на отчаянный поступок. В «Последнем сроке» был Михаил, единственный из детей старой Анны принявший на себя груз их общего долга перед матерью. Еще был в самой первой повести «Деньги для Марии» Кузьма, которому тоже пришлось испытать, сколь же непросто стать ходатаем по людям даже и за справедливое дело...

Но не было такого — настоящего современника: болеющего главными болями наших дней; активно сопротивляющегося прогнившему в жизнь недобросовестности и ищущего поддержки в других; открывшего на многое глаза и не боящегося называть вещи своими именами... Именно таким заявлен Иван Петрович — не «работяга», как теперь почему-то то ли снисходительно, то ли презрительно именуют часто ему подобных, но истый труженик; леспромхозовский шофер с ангарских, родных Распутину берегов; отец троих взрослых детей, которые, правда, разъехались искать лучшей доли, оставив отца с матерью; мужик в немалых годах, но в расцвете умения, опыта и желания сделать жизнь честной, трудовой, справедливой, доброй... И вот этого-то человека мы застаем в момент, когда в Сосновке вовсе не стало ему мочи и собрался он к сыну, в далекие неродные Сырники. И не просто переехать решил, а готов уже бежать... Да-да, первой же строкой Распутин смутит душу читателю: «И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только». А через страницу автор еще более властно угнетает нас: «Ничего не хотелось. Как в могиле... Он лежал и вяло, и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть»...»

Да, вот с таким гнетущим предощущением грозящей беды вводит нас писатель в свою новую повесть.

Что же гонит Егорова с родимой земли?

Беспорядок. Беспорядок вокруг и внутри него самого. Сначала окружающий беспорядок, потом и внутренний.

«Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не единым махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?»

Егорова терзает и мучит: как, почему «у нас», то есть у них в Сосновке, дошло до края, до жизни такой. И он не умеет и не хочет скрывать своего отношения ко всему, что повинно или потворствует ненавидимому им «раздольному житью-бытью». А Распутин не боится открыто читателю его мысли и душу. Он и поселил его, такого, не где-нибудь в Сырниках — «порядка здесь просматривалось больше», — а именно тут, в Сосновке.

А в этом лишь недавно переставшем считаться временным и все поторапливаемом поскорее вырубить все вокруг себя поселке постепенно (но весьма быстро, а главное — раньше, чем у других) не стало очень и очень важного — п о р я д к а. Пороку не стало совсем управы на «архаровцев» — на тех, кто приехал взамен коренных, убивших да умерших, на тех, кто призван был, чтоб управиться с подскочившим планом, с новой мощной и сноровистой техникой. А они почему-то все больше «кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно, как и где прожить, лишь бы быть ему прожиту». Да и сами-то сосновские тоже уже «научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести: «Пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его «КрАЗе» соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо — нехорошо, хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

А дружок Афоня Бронников такое Ивану Петровичу внушал: «Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу — и хватит».

Вот так и начинался беспорядок вокруг Егорова, хотя был, есть и остается план — всему голова в Сосновке. Правда, чаще всего план этот одни лишь «кубики» учитывал. И хотя не просто добывать лесные кубометры, но выполнить, «закреть» план — это уже совсем другая наука... «Дело это не только хитрое,— думает леспромхозовский

начальник Борис Тимофеевич,— но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя... (разрядка моя — Д. И.)».

Но Иван Петрович хотел, чтобы ему объяснили; рвался изменить положение, когда многим выгодно неразбериха и неурядица с планом; допытывался принародно, «почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана?»

О, как он хотел, как он взыскует порядка! Люди, настоящие люди устали, замучились без него. Ведь что же получается на самом-то деле? Мало что работаешь, не жалея себя,— сам же еще и порядок наводи... Где время, где силы брать для этого, а главное: где взять права, строгие и неотвратимые? Да Иван-то Петрович и так бы, поди, взялся и попер против любого, но только где же помощь какая-нибудь...

Вместо того вовсе край подступил. Всякие нероби и пьянчуги стали «сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящаяся и не стыдящаяся силу». Люди в Сосновке, и раньше-то потерявшие спайку, «столкнувшись с какой-то невидимой сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке», совсем растерялись.

И Иван Петрович размышляет:

«Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности и всегда на одного склонного приходилось двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной природы, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается».

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже

тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом...»

Мысли героя разделяет автор. И это придает им значение предупреждения. Оно звучит тем более своевременно и потому, что сегодня, к сожалению, далеко не все еще готовы посмотреть в глаза правде, какой бы горькой она ни была. А время настоятельно требует этого — правды в отношениях и в словах.

Далеко не перевелись у нас и любители ждать от книги обязательной финальной победы добра над злом. Как же им быть, если писатель показывает, что добро и зло, случается, и не различить?.. Хотя, с другой стороны, даже и не только у подобных читателей может встать вопрос: а не преувеличивает ли Распутин опасность?

Может быть. И думаем, писатель идет на это сознательно, ибо такая позиция художника продиктована его гражданским долгом одолеть липкую благость бодрячества в решении важных жизненных проблем. И в то же время это не проявление авторского пессимизма, а выражение его осознанной ответственности перед днем нынешним и завтрашним. Ведь Распутин выплеснул в «Пожаре» то, что годами отягощало нашу жизнь и с чем сегодня общество борется в открытую.

Если посмотреть шире, то теперь от художника требуются не внешне, по касательной, смелые обличения «актуального», не очередные «намеки» на прежние и нынешние беды, не тем более скоропалительная «интенсификация» оптимизма... Необходимо осознать ситуацию такой, какая она есть, представить реальную картину жизни. Так давно хотелось серьезного разговора (а не иронического или мифологизированного, которые часто велись в последнее время), разговора углубленного — не простого списывания протекающей действительности, разговора о главном — не о следствиях, а о причинах.

И новая повесть Распутина такой разговор начинает. Ее героя властно влечет желание нащупать, разглядеть связи явлений, которые то ли распались, то ли вдруг пагубно сплелись. Конечно, что-то Иван Петрович ненамеренно преувеличивает, мимо чего-то проходит стороной. Вот раздумывает он, например: «Но не было же этого сначала, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбили от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, на десять же лет и приговаривали?» Но мог бы он, прошлые и нынешние времена сравнивая, взять в ум мысль: «боковым ходом» тогда пошло, когда откровеннее и откровеннее стал нарушать-

ся главный принцип всей нашей жизни: от каждого — по способностям, каждому — по труду. Воздавалось бы чаще и чаще по труду, — глядишь, «архаровцам» в Сосновку и ехать не надобно было б, да и вообще «архаровцев» было б куда меньше...

Но здесь следует заметить, что Распутин слишком уж «нагружает» своего героя, — один Егоров не в состоянии выразить весь объем и глубину отношения к картине, которую автор хотел нам представить. Повести не хватает корней и историй других персонажей, защиты ими своих нравственных позиций, не хватает личностей этих людей. Егоровский дружок Афоня Бронников, начальник леспромхоза Борис Тимофеевич, «архаровец» Сашка Девятый — по большому счету, они только названы, но не обрели истинной художественной плоти. Нет ее в полной мере и у самого Ивана Петровича.

Мы не случайно в первых же строках сказали, что его характер писателем «заявлен». Егоров в повести действительно больше «на слуху», чем «на виду». Та редкая психологическая зримость поступков и мыслей, которая выделяет Распутина как художника, в фигуре Егорова выявилась слабее обычного. В героя, безусловно, веришь, но осталась «за кадром» психологическая достоверность многих его поступков и действий, которыми он привлекает прежде всего.

Правда, поскольку эта маленькая повесть, несомненно, представляет собою и род притчи, можно предположить, что Распутин сознательно шел на недоговоренность в обрисовке характеров «Пожара»: если для такого его персонажа, как Борис Тимофеевич, «объяснить», — как мы помним, — все это было невозможно, то и для писателя слишком непросто было бы раскрыть здесь все реальные основания и мотивы поведения своих героев.

Тут, наконец, пришло время сказать, что в сотый раз перекручиваемые Егоровым думы и думки гложут Ивана Петровича в повести во время пожара.

Да, только он пришел домой и лег в прихожей на лежанку, как загорелись продовольственный и промтоварный склады, и Иван Петрович бросился тушить их. И все сосновцы тоже прибежали спасать добро. Правда, немало среди них было и своих и пришлых, которые не брезговали разжиться на такой беде. И удавалось им это, чего греха таить, как ни противились тому Егоров и другие. Но когда уже знаешь от Ивана Петровича о сосновских порядках, или, вернее, беспорядках, сама по себе картина пожара, прямо скажем, мало чего добавляет...

Главный же, думается, пожар — в душе Ивана Петровича, которая, медленно-медленно тлея, перегорала, а теперь, напоследок, может и вспыхнуть.

А загорелось в Сосновке, думается, затем, что иначе действительно был бы край, была бы открытая стычка, схватка Ивана Петровича

с «архаровцами», с их атаманом: «Кому-то надо или не надо держать оборону? Против чужого врага стояли и выстоим; свой враг, как и свой вор, пострашнее». И пошел бы тогда Егоров от обороны в бой — и, наверное, в смертный бой.

Но пока же общее бедствие этот бой отсрочило.

И на пожаре, конечно, не обошлось без жертв, пали в нем передовые бойцы: честняга дядя Миша Хампо и Соня — один из самых дерзких «архаровцев». Но Иван Петрович уцелел — удержался на краю.

Распутину и не хочется, чтобы его герой край перешел. Не желает писатель этого, страшится. Один он пока такой в Сосновке — Иван Петрович. Пусть останется в ней, и пусть скорее придет к нему подмога.

...В прошлом году, заканчивая статью, посвященную десятой годовщине смерти Василия Шукшина, «Твой сын, Россия, горячий брат наш...», Валентин Распутин писал (альманах «Сибирь» № 4, 1984): «И вот в этом-то — в предельной напряженности слова и объединяющей его силе,— мы, кажется, не сумели поддержать Шукшина. И мы говорим о том же, но спокойней и отстраненней; и нас читают, но своим читателем, по-гурмански».

В своей новой повести, перед лицом «раздольной» разьединенности, неприемлемой ни писателем, ни его героем, Распутин сумел достичь очень большой публицистической «напряженности слова». Теперь снова будем ждать книги, где она предстанет переплавленной в истинно распутинскую «напряженность слова» прозаического — неупokoенного и объединяющего.

1985

ЖИТЬ НЕ ПО ВАЛУ

Вспомнился рассказ-очерк Ивана Васильева о молодом парне, отслужившем в армии и пришедшем в совхоз работать механизатором. Парень старался, трудился, не считаясь со временем, работал лучше многих «старичков», а вот ко двору не пришелся и вскоре уехал. Но не просто потому, что остальных трактористов незаметно как-то охватило безразличие и им давно стало наплевать на все в родной деревне, и этот новенький был у них как бельмо на глазу. На поверхности-то было именно так, а, по сути, гораздо сложнее, диалектичнее: приезжий действительно был готов ломить любую работу, а местным до чертиков надоело делать дело так, как оно у них было заведено: «Быстрее и больше!»

«Кончать надо с вашим «давай, давай»,— говорит старый тракторист директору совхоза, и тот в рассуждении сам с собою

сознает: «Тракторист сказал: «Не больше, а лучше». Правильнее, пожалуй, сказать: к большому — не через быстрей, а через лучш е. Ведь цель «больше» была, есть и будет, только достижение ее лежит через «лучше».

Этот рассказ прочитан в недавней книге Ивана Васильева. А могли вспомниться другие очерки: Леонида Иванова или Анатолия Стреляного, например. Или давние — Ефима Дороша или Георгия Радова. Или «Районные будни» классика советской очерковой прозы Валентина Овечкина.

Все они встают в памяти, когда на одном дыхании читаешь в «Новом мире» большую, но страстно, болью сердца написанную, кипящую негодованием, разящую и поражающую своими кричащими цифрами и фактами работу Юрия Черниченко «Наука и земледелец». И рождается вновь и вновь горький, но все еще безответный вопрос: «Доколе же будем путаться в этих трех соснах — больше, быстрее и лучше?»

Вот один приводимый Черниченко типичный пример того, какая практика решительно преобладает в этой на долгие-долгие годы затянувшейся проблеме:

«Исходная позиция в том, что Зеленки должны давать больше, чем дают, а как это сделать — лучше видно району, то есть уполномоченному (т. е. районному уполномоченному.— Д. И.), области, Минсельхозу, за которыми наука, интенсивность и знание потребностей. План и обозначает на бумаге этот прирост. Есть, допустим, шесть, а надо, чтоб вышло семь».

(Заметим в скобках, но, понятно, со слов автора очерка, что в Зеленках — неплохой колхоз с дельным председателем и очень знающим агрономом Пошевелей Яковом Федоровичем, которого больше всего расстраивает то, что задание колхозу дают не «сколько чего продать, а именно как и чем занимать землю.

— Мне б сказали: сдай пять тысяч тонн, и все. Как добудешь — дело твое. Я ж тут четвертый десяток, чему-то ж жизнь научила? Нет. Рукава мои, а руки в них чужие».

Заметим, что оправданием такой практики никак не может служить то, что редко теперь встретишь в колхозах тех, кто «тут четвертый десяток». Заметим, что и «уповноваженный» Юрий Дмитриевич тоже «не только понимает, что дополнительный план на озимь Пошевели доводить не нужно и вредно, а и меры — доступные по рангу и своему характеру — принимал, чтоб не добавлять... Тут ему и сказали достаточно строго: «А у нас там производственная дисциплина есть? Вы зачем там у нас сидите?»

О, это уже автоматическое, но вместе с тем коренное, определяющее — «там у нас!» К нему сходятся, наверное, все концы и начала...

Значит, таким вот образом вершат землю и урожаем с целью,

понятно, достичь большего. Посмотрим теперь, что же в результате получается «там у нас».)

«Но если слагаемых (площадей, урожайности, химикатов и пр.) на шесть единиц, то семь на конец пятилетки ты никак не выведешь: и следующий заводделом удивится натяжке и внизу колхоз воспротивится. Тогда вводится в уравнение некая темная величина — X.

$$2+2+2+X=7!$$

Икс в случае с Пошевелей — гибридная кукуруза. Она в Европе — венгерской Баболне или в югославских госхозах — дает под сто центнеров».

(Ясно, что сто центнеров — это хорошо, это — лучше. Поэтому за них и ухватились. Но поглядим, что дальше...)

«Шалин, уполномоченный при Пошевеле от Василия Николаевича (напоминаем: В. Н. Ремесло — всемирно известный наш селекционер, создатель великих мироновских сортов озимой пшеницы.— Д. И.), то есть непосредственно от науки, говорит, что в лесостепи Украины эти сто центнеров можно называть только на съездах филологов или гинекологов... Фактически те 350 гектаров гибридной кукурузы, что Пошевеле доведены планом, три года подряд не дали колхозу ни зерна: не вызрело!.. Значит, величина X не подтянула шестерку к семерке. Наоборот, кукуруза, культура поздняя, смешала Пошевеле сложный расклад севооборотов, и ему пришлось сеять озимь по озими три года подряд... Тройная пшеница по пшенице привела к вымерзанию... Таким образом, введение X фактически ущемило реальные, нетемные слагаемые: даже шестерку надо чем-то вытягивать».

(Таким образом — больше привело к худе, и вместо быстрее получилось медленнее.)

«Если бы спор шел на равных... то агроном поставил бы вместо темного X горох. Тридцать центнеров гороха получить можно наверняка, а это прекрасное подспорье фермам, белковый корм, и азотная добавка в почву, и — едва ли не главное — отличный предшественник пшенице. Но тридцать центнеров гороха понизят сверстанную на конец пятилетки цифру, стоящую на венгерско-югославском сборе, и в плане твердо остается не горох, а кукурузный гибрид со всеми его последствиями».

(В результате «у нас» остается счет на быстрее и больше, который «там» губит не только лучше, но и достигнутое. А чтобы взятки гладки были за недомысленную дутую цифирь, существует «дикт», как его именует В. Н. Ремесло: «Я тебе буду диктовать, а ты будешь делать. Но отвечать потом будешь ты, а не я!» — «дикт», против которого прославленный академик протестовал перед людьми самых различных рангов, и... «одно только разведение руками и вздыхание в ответ»).

«Отвыкнув горячиться и спорить в районе («То молодых дело, а я взял папку и пошел»), Пошевеля, однако, предложил было новому председателю:

— Давай, Александр Николаевич, отчитаемся за кукурузу, а влупим гороха!

Но председатель ответил, что опасно, пока не знает, лучше еще потерпим.

(«Василий Николаевич называет эту ситуацию «у мэнэ ж диты». Есть дети, нет детей, внуки уже женятся — не важно: речь о самобережении и о плети против обуха.)

И «если валовой сбор колхоза растет, а коров что ни год им прибавляют на сотню голов и стадо держится, то это потому, что колхоз, то есть Пошевеля, и Близнюк, и Галина, и тракторист из «навозного отряда», подставляет свои слагаемые, всегда реальные. Это органика, которая «растягивает» поля, это неафишируемое повышение оплаты комбайнерам («Накинули по пятнадцать копеек за гектар, по два центнера хлеба — и не заглядывай, аж гай шумит!»), это та же война с пьянкой — план этого не отражает, но сборы выдают».

Такова грустная, но реальная картина битвы за хлеб в одном только колхозе, битвы, которую «там», на полях, выиграть, ох, как трудно, если она заранее проиграна «у нас», за столами. И таких «битв» криком кричащей работе Ю. Черниченко множество.

Битва за чистые пары: оставьте нам их, просят земледельцы, через год они себя оправдают; засевайте, следует команда, нам надо отчитаться в этом, а не в следующем году; а конечный «эффект» ясен из вопроса лауреата Ленинской премии академика Бараева: «Зачем сеять больше, чтоб получать меньше?»

Битва за клейковину, за содержание белка в зерне: корова «считает по белку, валовой счет ее не интересует. А белка в кормах разорительно мало, и десятки миллионов тонн трудно добытого и уже оплаченного зерна без воздействия на привес уходят в навоз — вот смысл новых потерь на фермах. Ныне дефицит по белку обесценивает приорит производства зерна!»

Битва за сельскохозяйственную технику: «Нашим механизаторам не из чего выбирать», — и они вынуждены брать от заводов машины вчерашнего дня, да еще с фантастическими прямо дефектами: «Дело в отношениях, когда продавший машину всегда прав, от полевых удач-неудач независим!»

...В чем же причины живучести вала, валового сбора, валовой продукции, за которыми не отличить «больше», «быстрее» и «лучше», за которыми не увидеть качества, зато спрячется отсутствие тех или иных необходимых и планировавшихся культур, сортов и изделий, — вала, которым легко отчитаться так, чтобы и невооруженным глазом было видно достижение (а вооруженный, внимательный, хозяйский глаз и за версту не подпустить к успокоительно возросшему показателю)?

В том, что вал («быстрее и больше») помогает, — позволяет скрывать правду, выдавать желаемое за действительное. Но дальше так продолжаться не может: «быстрее и больше» — это экстенсивный путь развития хозяйства, уже отошедший в историю, и только «лучше» обеспечит интенсивное развитие, ставшее велением времени.

1981

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

(Отзвуки одной дискуссии)

Хозяин...

«О чем рассказ «Холюшино подворье»?

Об одиноком семидесятилетнем старике, инвалиде с деревянной ногой. Была когда-то крепкая, добрая, крестьянская семья: отец, мать, трое сыновей, дочь — всех размотало, разметало по белу свету. А кого и бог прибрал. Остался в родном гнезде один Холюша. По паспорту Варфоломей, но полным именем пользоваться приходилось так редко, что оно и забылось, затерялось.

Названием рассказа автор прямо указывает нам на то, что остановило его внимание, и потому мы с вами, читатель, заглянем для начала тоже на Холюшино подворье: что это такое, почему вдруг современного молодого автора заинтересовал крестьянский двор, который, по общему мнению, настолько видоизменился, что и со словом «крестьянский» не очень как-то вяжется...

Однако Холюшин двор особый, мимо него и в самом деле так просто не пройдешь.

«Приземистый круглый дом под жостью — когда-то лучший в Вихляевском — сейчас одряхлел и понемногу уходил в землю, топорщась рогатой телевизионной антенной. Спереди, от красного крыльца, и сзади, от чуланов, громоздились друг за дружкой базы, сараи, кухни и другие постройки. И, смыкаясь, ровным четырехугольником обступали они просторный двор. А на базах на ветер шумел, а жила и плодилась скотина: добрая корова-ведерница, от нее же телка-двухлетка, летошный бычок зимовал, нагуливая мяса; на козьем базу хрумтели сенцом десяток коз да козел Ерема, а с ним шесть овечек. Мирно похрюкивали подвинки. Два десятка гусынь днями вперевалку бродили по двору или серыми валунами лежали на грязном снегу. Распускали жесткие хвосты и крылья, чуфыркались два индюка, наливались кровью, а временами лениво бились перед добрым табунком сытых, подбористых индюшек. Здесь же гаддели утки, греблись куры, которых стерегли два петуха, белый и рыжий.

Меж собой петухи ладили — сударок хватало, чужих били в кровь... Ниже лежал огород, наверное, самый большой в хуторе. За ним, на берегу, старый сад с покосом. Уж ему-то равных не было во всей округе».

Такое вот оно, Холюшино подворье. Специалист легко бы подсчитал, сколько человек в состоянии прокормить со своего двора Холюша, — счет по нынешним временам ох какой нелишний! Думаю, что если бы и уступил Холюша американскому фермеру, то совсем немного.

Но дело тут не только в экономике. Не знаю, как читатель, но я вдруг поймал себя на том, что отношусь к Холюше иначе, чем относился бы к нему еще каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад. Тогда, встретив такого Холюшу в жизни и в литературе, мы торопились объявить его «куркулем», «частником», «хозяйчиком».

...Так начал критик Б. Анашенков («Литературное обозрение» № 7, 1980) полемический разговор о рассказе Бориса Екимова «Холюшино подворье», напечатанном в журнале «Наш современник» (№ 3, 1979). А затем в этот разговор об одном (!) рассказе на страницах «Литературного обозрения» включились кандидат экономических наук Г. Лисичкин (№ 7, 1980), публицисты А. Стреляный (№ 1, 1981) и В. Пальман (№ 7, 1981), критик А. Обертынский (№ 7, 1981). В № 9 (1981) В. Сурганов подвел итог разгоревшемуся спору.

В дискуссии этой были затронуты существенные вопросы недавнего и нынешнего положения дел в нашем сельском хозяйстве. От екимовского героя — действительно «частника», но привлекающего своим неизбывным трудолюбием, — от Холюшиного подворья, ярко демонстрирующего весомые результаты такого самоотверженного труда, разговор, естественно, переключался на гигантские преимущества социалистического коллективного хозяйствования и на причины, мешающие им до конца раскрыться. В связи с этим остро вставал вопрос и о нравственном облике тех, кто сегодня работает на земле, и тогда вновь взоры обращались к екимовскому персонажу.

«...У Холюши был свой, неписанный от века закон: жизнь — она жизнью, трудами должна держаться.

...Можно принимать это покорно-безнадежное Холюшино «терпи, такая наша жизнь», можно отвергать. Одно невозможно: пройти равнодушно мимо... Нельзя не «надрываться», а то люди осудят. И сам ты себе не мил станешь.

...Счастливейший и не бывает! — человек. Он увенчан наградой, высшей и прекраснейшей из всех существующих, никакие деньги с ней несоизмеримы. Награда эта — красота, гармония, поэзия трудовой жизни, неотделимая от нравственного закона (Б. Анашенков. «Эхо негероического бытия»).

«И хотя мы и видим Холюшу в бытовом неукоте, неубранного, он тем не менее красив, красив потому, что остается хозяином на своем

подворье, выступает в самой красивой на свете роли — роли создателя» (Г. Л и с ч к и н. «В поддержку Митьки — Холюшиного оппонента»).

«Это Крестьянин, Земледелец с большой буквы...

...Он работает, работает от зари до зари. Его хозяйство растет, а он, словно наверстывая вне крестьянства проведенные годы, незаметно для себя выходит за пределы возможного. Корова, нетель, бычок, козы, свиньи, несчетно птицы, огород, заботы о кормах, которые надо достать, изворачиваясь, тем более, что на него уже смотрят косо. Митька-алкаш идет к Холюше просить сто рублей взаймы, матерится внаглую: «Миллионщики... Революции на вас нету... Реформу бы хоть какую...»

По осени грузит свое добро — и на базар или в кооперацию. Покупайте, люди добрые! Цены не я устанавливаю, базар сам диктовку делает. Чем больше Холюш с товаром, тем, значит, дешевле. Закон!

Осмысление главного, зачем он живет на земле, подымает. Он кормит людей. Наверное, сам Холюша это не может понять в полной мере, тем более выразить... Цели у Холюши только самые близкие, философствовать он не приучен: вот бы принесла Зорька славную телочку; вот бы успеть травы накосить, машину добыть для перевозки; вот бы навоз вывезти до распутицы.

Вот в этом его доброта...» (В. П а л ь м а н. «Уж если Митька задумался...»)

«Холюша о святости не думает, он трудится попросту в поте лица. Подчеркнем снова: не по склонности только! Ему и Митревне (из того же рассказа), наверное, хочется как раз погреть старые кости, посидеть на весеннем солнышке. Но верх берет иная склонность, получившая санкцию нравственного закона:

«Надьясь Митревну встретил, она чуток посверстнее меня. Чикиляет, жалится, плачет: «Мои-то уехали... Кинули меня без Христовой памяти... Я ту легу надорвалась с огородом, сажала. Снова весна заходит. Руки не подымаются, ноги не носят, а надо сажать, надо... Не посади огород да картошку — люди осудят...» А я ей: и осудят, говорю, осудят. Терпи, Митревна, такая наша жизнь».

Холюша с Митревной не праведники, конечно, они живут по законам простой нравственности, но это совсем немало» (А. О б е р т ы н с к и й. «Что могут деньги...»).

«Наверное, и сам Борис Екимов не предполагал, что его сочинение, подобно маленькому камешку, уроненному со склона, пробудит и увлечет за собой целую лавину сталкивающихся друг с другом мыслей, выводов, примеров и обобщений, выходящих далеко за пределы предложенного сюжета. И, значит, что-то очень важное и наиболее затронул этот рассказ, коснулся какой-то серьезной, назревшей проблемы. И можно даже предполагать, что само его появление именно теперь, в наши дни, было вовсе не случайным.

Б. Анашенков объясняет причину этой неслучайности прежде всего и главным образом тем, что в судьбе и характере екимовского героя утверждается идея изначального нравственного закона, который искони живет в душе каждого подлинного земледельца, передаваясь веками из поколения в поколение. Закон этот воплощается в чувство высокой личной ответственности перед кормилицей-землей, а также перед людьми. Он одухотворяет и поэтизирует трудовую деятельность крестьянина, благотворнейшим образом воздействует на формирование его личности. Напоминать о нем сегодня, раздувать искры этого огня в сердцах современников особенно необходимо, потому что под напором научно-технической революции, растущим засильем бездушной техники мы все больше отрываемся «от мира живой природы, живого труда и его продукта». И потому надо снова и снова вглядываться в людей, подобных Холюше, которые еще связаны с этим миром. Тем паче, что они все неотвратимей и бесповоротно покидают нас. В силу исторических причин мы слишком долго видели в крестьянине прежде всего собственника и атаковали связанные с этим чуждые нашим идеалам свойства его натуры. Но забывали при этом о второй, трудовой его ипостаси». (В. Сурганов. «Возвращение к азбуке»).

Итак, из этого долгого цитирования — с основной целью дать достаточное представление о герое и проблематике рассказа — видно в первую очередь, что все участники дискуссии выделяли в характере Холюши решающую и прекрасную черту: потребность созидательного, поэтического, самозабвенного труда, в основе которой высокая, из века в век передававшаяся ответственность перед отчей землей и людьми, близкими и дальними. С другой стороны, все сходится еще в одном: Борису Екимову удалось «убеждающе, живо» воплотить крестьянскую натуру своего героя, поэтому уверенно пишут о Холюше как о состоявшемся характере, полноценном художественном образе, живом человеке, душевно переживают его заботы, с сердечным участием принимают Холюшину судьбу.

Причем уверенность эта и сопереживания распространяются в равной мере как на «трудовую ипостась» екимовского персонажа, так и на те хозяйственные отношения, в которые Холюша вступает или вынужден вступать в силу своего положения не просто крестьянина-собственника, но, можно твердо сказать, е д и н о л и ч н и к а, каковым Холюша, по существу, оказался, будучи инвалидом, пенсионером и потому почти напрочь оторгнутым от колхозных дел, артельной заботы и подмоги.

Между тем две эти важнейшие, определяющие стороны Холюшного существования нашли в рассказе далеко не равноценное воплощение.

Да, в работе Холюша (да и другие у Екимова) представлен «весомо, грубо, зримо»: стоит вспомнить любовно выписанные итоги и «точки приложения» его нескончаемых трудов, с которых начинал свою статью Б. Анашенков, или хотя бы Холюшины заботы по прокорму скотины, — тот же взятый случай с соломой, привезенной «бессовестным трактористом».

Но вот как изображено писателем то, что непосредственно предшествовало самой разборке этой неладной соломы.

«Солому привезли вечером. В темноте Холюша лишь разобрал, что воз хороший, с верхом тележка.

— Ох и добрая солома, — сказал тракторист. — Да много наложили. За нее, Холюша, надо бутылку да еще самогонки влить. Гляди, воз какой.

— Разве я жадаю, — ответил Холюша. — Я всегда говорю, накладайте поболе. А они чуток накладывают. Чтoб я скорее опять пришел.

Холюша не пожадничал: бутылку магазинной водки принес и самогонки. Он был доволен.

А утром, когда развиднелось, оказалось, что он зря расщедрился. Солома была почти вся смерзлая. Как с самого верху, со скирда сняли оберомок, так и положили на тележку. Холюша с досады чуть не заплакал. Бросил все дела и захромал в контору. Но бригадир ему раньше встретился, возле клуба. Только Холюша начал свою беду обьяснять, жаловаться, как тот его остудил:

— Так тебе и надо. Не будешь бутылки на ферму таскать.

На том и кончился разговор».

В этом эпизоде (как и в предыдущем), несомненно, делается жалко и обидно за Холюшу, и чувство это заслуженное и справедливое. Но, не знаю как кому, а мне лично здесь явно недостает иных красок — тех живых деталей, которые раскрывали бы другую ипостась этого человека, этого крестьянина (с большой или маленькой буквы — все равно) — пусть не «куркуля», не «миллионщика», но настоящего, доподлинного хозяина и, хоть не хошь, но собственника, конечно, — владельца определенного «капитала»... Вот и требуется мне увидеть и услышать: стоит ли у Холюши в горнице заранее купленный ящик водки и сейчас в нем уже много пустых гнезд или пошел Холюша в сельпо за этой магазинной бутылкой, а ему там продавщица, может быть, сказала: «Опять, Холюша, какого-нибудь мужика благодарить станешь, а он потом своей бабе снова будет мозги вправлять», — а Варфоломей-то, между тем, без вины виноватый тут; а перед этим посмотреть, как Холюша отворит свой загашник и легко ли отделит нужную от кипы пятирублевok; я уже не говорю про аппарат и жбан с самогоном — эту неприглядь у Холюши надо видеть и знать мне так же, как и все то, что возвышает его в моих глазах.

Когда же с неизбежностью последует вопрос: а почему, собственно,

эта иная ипостась Холюши здесь именно должна раскрываться? — отведу: конечно, не обязательно именно здесь, но где-то ведь должна, безусловно. Раз сочетание, противоречивое двуединство труженика и собственника делает крестьянина крестьянином, то и Холюшу требуется мне видеть таким, истинно живым человеком, а не той односторонне идеализированной личностью, какой он выведен в рассказе. Потому что хотя положение х о з я и н а на своем подворье способствует поддержанию в Холюшиной душе перенатого от отцов и дедов н р а в с т в е н н о г о закона трудовой жизни, это же самое положение единоличного, независимого владельца куска земли обязывает, вынуждает его всячески, любыми средствами, в том числе и без н р а в с т в е н н ы м и, поддерживать, отстаивать, бороться за свое хозяйство: деньгами ли, уговорами или бутылками, заискиваниями и унижениями... В рассказе же я вижу во плоти, как он из последних сил трудится на своем подворье, какую радость и удовлетворение приносит ему эта работа, но вовсе не нахожу, к а к Холюша б ь е т с я за него, бьет себя и бьется с другими.

А в претензии именно к этой сцене я потому лишь, что она наиболее подробная попытка, единственное детальное, в какой-то степени, изображение хозяйственной практики Холюши, когда ей необходимо выйти за границы подворья. В остальном же практика эта излагается в рассказе Б. Екимова исключительно н а з ы в н о.

И уже поэтому я далеко не до конца верю в Холюшу, не принимаю его образ как цельный и художественный...

Еще раньше не поверил автору рассказа А. Стреляный — единственный среди дискутировавших.

Он подошел к этому от жизни, от реальности, от знания предмета.

«Самый острый вопрос — о фураже, и писатель справедливо уделяет ему особое внимание. Ведь ему известно, что весь фураж, исключая «пенсионерские центнер-другой» от колхоза, надо или купить, или украсть. Чтобы украсть, Холюша должен быть, во-первых, на двух ногах, а во-вторых, иметь на руках трактор или грузовик, работать на них в колхозе. (Обратите, читатель, внимание на это «украсть», которое публицист употребляет наружно мимоходом и бестрепетно. До какой же степени, значит, явление это укоренилось и вошло в обычай. «Понимаешь, я начинаю теряться перед этим безразличием, — говорил один из героев очерков Ивана Васильева, весьма авторитетного сегодня знатока деревенской действительности. — Не знаешь, с какого конца подойти. Не вводить же, в самом деле, прежний закон об охране социалистической собственности. Надеюсь, помнишь, как было. Но закрывать глаза нельзя — опасно. Опасность мелкой растащивки в том, что она делает характер. Понимаешь — характер! Привычку» — Д. И.). Купить у людей, знает сельский житель, можно в лучшем случае крохи, и автору ничего не остается, как превратить эти крохи в пятьдесят центнеров.

«Осенью, когда раздавали хлеб, Холюша был наготове. В этот день он запасался водкой, самогоном, деньгами. И не отходил от амбаров. Механизаторы получали зерна помногу. И не один, так другой, не другой, так третий, особенно если жены рядом не случалось, оделял Холюшу, который сдабривал сделку магарычом тут же, на месте».

Так набиралось пять тонн.

По-моему, это сказка. С зерном для личного хозяйства на селе очень туго. Механизаторы получают больше других, но «помногу» — громко сказано; к тому же, если чьи подворья и могут потягаться с Холюшиным, так это подворья механизаторов. Продается на селе и покупается многое, что стоит денег, но зерно — меньше всего. Б. Екимов это знает, я сужу по его словам: «Не один, так другой, не другой, так третий». Охотно верю, что, соблазнившись бутылкой, иной и продаст Холюше мешок, центнер, не больше. Вся штука, однако, в том, что таких иных должно набраться с полсотни человек, а это фантастика, это поголовно все механизаторы довольно большого колхоза». (А. Стреляный. «Наживное дело»).

И другие, столь же недоверчивые вопросы ставит А. Стреляный: как обходится Холюша без помощников, когда днями и ночами пропадает на сенокосе; как собирает, а главное, вывозит свое сено; кто управлялся с его садом-огородом в то время, когда Холюша «машина-ми на базар вывозил» свою живность?

Как видим, у А. Стреляного свои резоны, позволившие ему сделать вывод: «Перед нами, таким образом, герой, поставленный в довольно фантастические обстоятельства. Многочисленные хозяйственные подробности только оттеняют преувеличения, натяжки и упущения. Материал собирался старательно, может, и не в один присест, но потом подгонялся под выдумку. И это сильно отвлекало автора, портило художественную сторону дела».

Нельзя сказать, чтобы из других участников дискуссии никто не видел подмеченного противоречия,— еще Б. Анашенков сразу же оговаривался: «при таком объективном расчете большая часть Холюшиного подворья отпадает». А В. Сурганов в заключающей статье написал: «И хотя разумом соглашаешься с трезвыми доводами и выкладками А. Стреляного, резонно доказывающего, что автор непомерно преувеличил реальные физические возможности своего героя, все-таки вопреки всему начинаешь верить в Холюшу!»

Что ж, и я готов поверить не только в «непомерно преувеличенные физические возможности» Холюши, но даже и в «фантастические обстоятельства» его существования, которые по праву прежде всего смущают А. Стреляного,— готов, лишь бы писатель убедил меня в их **х у д о ж е с т в е н н о**.

То есть при той же, например, покупке Холюшей зерна я должен видеть, как именно, в деталях, «в этот день он запасался водкой, самогоном, деньгами». Ведь это значит, что рядом с амбарами он

должен поставить два, а то и четыре ящика водки, да еще невесть сколько бутылок с самогоном... Вот когда бы я увидел Холюшу в такой, пусть фантастической ситуации: как он разрывается между механизаторами и своей «монополькой», как пытается скрыть ее от начальственного взора да и просто охранить, как пересчитывает глазами бутылки, как торопливо, отвернувшись, отделяет оговоренную сумму да и снова прячет кошелек; как над ним трунят и издеваются, а ему все ничем или, наоборот, горько приходится; как механизаторы смотрят друг на друга, выстроившись чуть не в очередь за «магарычом»; как затем пытается Холюша раздобыть машину, а надо-то их, получается, чуть ли не две, чтобы отвезти на подворье столько этого несчастного зерна, — а кто их, эти машины, ему даст (а кто даст, чтобы «машинами осенью вывозить» живность на базар, а летом, — чтобы свезти накошенное сено?) — вот когда я все это или что иное, многое подобное, в Холюшином житье-бытье увидел бы, прочувствовал, осознал бы, тогда-то я наверняка поверил бы в екимовского героя, стал бы ему сопереживать, проникся его долей и проник бы, вместе с писателем, в п р а в д у жизни...

И тогда только в моем сознании и сердце, может быть, появилась бы возможность поставить Холюшу в один ряд с теми, кого походя поставил с ним рядом Б. Анашенков, — Пелагеей Ф. Абрамова, Катериной В. Белова («Привычное дело»), старухой Анной В. Распутина («Последний срок»), Кэлиным И. Друцэ («Святая святых») — подлинно живыми образами, золотым обеспечением нашей сегодняшней литературы.

Тогда только А. Обертынский мог бы рекомендовать критикам не спорить вокруг рассказа Б. Екимова, а «отнестись к повествованию почитательски непосредственно, восхититься тем, что достойно восхищения, посочувствовать тому, что сочувствия заслуживает», — спор-то и возник как раз прежде всего потому, что в повествовании зияют бреши не просто в жизненной, но в художественной правде.

Тогда только получил бы В. Сурганов реальную основу и возможность писать: «Это сочетание возвышенной поэтичности с трезвейшим деловым, приобретательским расчетом в мироощущении екимовского героя... естественное и органичное социально-психологическое двуединство...» Пока же это двуединство художественно не воплощено, не выражено.

Вместе с тем не хотелось бы принизить очевидное: екимовский Холюша сумел «убеждающе, живо» проявить в нашей реальности нечто весьма существенное.

Ведь чем всех привлек, а кого-то и поразил и всех переспорил друг с другом Холюша?

Не тем ведь просто, что он трудится так напряженно, непосильно даже, а тем, что т а к он трудится т о г д а, когда большинство вокруг работает куда хуже.

Именно в этом «своевременность», как пишет В. Сурганов, рассказа, как раз тут «затронул» он «очень важное и наиболее», «коснулся» именно этой «серьезной назревшей проблемы».

Важнейшая эта проблема имеет множество аспектов: политический, социальный, экономический, нравственный, научно-технический, эстетический... И все они так или иначе были задеты в жарком разговоре вокруг рассказа Б. Екимова, поскольку наиглавнейшим желанием всех было дать объяснение: почему же, с одной стороны, Холюша трудится лучше своих односельчан, а с другой — отчего у окружающих работа идет куда менее успешно, в частности у Митьки — «Холюшинного оппонента».

Правда, для серьезного анализа этот персонаж — объект мало подходящий. «Где, когда, при каких обстоятельствах порушился нравственный закон в душе Митьки? Был ли он у него? На эти вопросы нет ответа. Фигура Митьки, — полагал Б. Анашенков, — очевидно, показалась автору настолько привычной, распространенной, что он ограничился беглым ее описанием». И действительно, об этом «колхозном электрике и пьянице», как он рекомендуется писателем во первых строках, что-либо еще узнать дополнительно можно разве только на последней странице рассказа, где Митька «пошел к себе в мастерскую, отмотал десяток метров комнатного провода и тут же продал его, за пятерку».

Нет в рассказе и человека, который не меньше Холюши «любит сельское хозяйство, но не только свое, а и колхозное-совхозное». «Без хотя бы одного такого человека, утверждаю я со всей ответственностью, — свидетельствовал А. Стреляный, — не стоит ни одно село в Союзе». Понятно, почему героя такого склада — Кэлина из «Святая святых» И. Друцэ — вспомнил Б. Анашенков: судьбы и характеры подобных людей проливают несравненно больше света на взволновавший всех вопрос.

И тем не менее именно рассказ Б. Екимова вызвал столь широкий резонанс.

Почему? Почему не рождают таких споров бедящие сердце очерки Ивана Васильева, на которые все так дружно ссылались в дискуссии? Почему такая дискуссия не завязалась, когда несколько лет назад вышел заключительный роман пекашинской тетралогии Федора Абрамова «Дом»? Ведь там перекликающиеся и острейшие ситуации — неравное противостояние Михаила Пряслина, всей душой болеющего за общественное дело и не находящего отклика своим заботам у своих же односельчан. «По нынешним упорядоченным, спокойным временам, — комментирует В. Сурганов романную ситуацию, — его требования к людям, их труду столь высоки и бескомпромиссны, что рядом с ним не хочет работать никто».

Почему же... Ответ, конечно, известен. И Федор Абрамов и Иван Васильев писали про нашу колхозную и совхозную действительность,

ставили вопросы, для решения которых необходимы с у щ е с т в е н н о новые условия в масштабах сельского хозяйства всей страны, условия, какие своими собственными стараниями труженики села при всей заинтересованности в них создать сами не в силах. И поэтому, сколько тот же Пряслин и сам Федор Абрамов ни взывают к их ответственности и совести, не в них дело, и даже не в тех, «с кого спрос в первую очередь», — «конечно, с руководства, — с дирекции совхоза, с райкома партии — это азбучная истина», — помните, так ведь начинал Федор Абрамов известное обращение в «Правде» к своим землякам. Им-то, руководителям, в особенности нужны соответствующие условия... И вопросы эти под тем или иным углом зрения, с большей или меньшей остротой ставились неоднократно и многими, а воз по множеству причин так и оставался на месте. Вот и получалось: стоило ли новые словесные заборы городить вокруг старых, хотя и незаживающих и все более зудящих проблем, когда тут живое дело требуется?

Но Холюша-то здесь при чем, он-то почему развязал всем языки?

А при том, что, пока одни вынуждены ждать, а другие ждут беззаботно, он, ничего ни от кого не требуя и ни к кому не взывая, работает, да так, что любо-дорого посмотреть. Значит...

Значит, можно хорошо работать и без соответствующих условий — так, как работает Михаил Пряслин у Абрамова, как трудится один из героев Васильева, который говорит: «...Я люблю хорошо работать. Таким уж на свет прозведен»; как екимовский Холюша наконец...

Да, можно, поскольку у Холюши в душе царит нравственный закон, сказали Б. Анашенков, В. Пальман и А. Обертынский.

Нет, у него есть решающее условие: Холюша сам себе хозяин, возражали Г. Лисичкин и А. Стреляный.

Просто Холюша — одиноличник, подчеркнул В. Сурганов, и работает он исключительно на себя.

Но если Холюша одиноличник, собственник, тащит «свой тяжеленный, не в подъем воз ради наживы», как первым же отмечал Б. Анашенков, а делами и заботами ближних своих никак не волнуем, тогда почему у всех, кроме А. Стреляного, он вызвал такую большую симпатию, что никто и в мыслях не посчитал его «куркулем»?

Дело в том, разъясняет Г. Лисичкин, что «Холюшу с его подворьем долгое время по ошибке считали наследником несоциалистических элементов». Но «оно не конкурент общественному хозяйству... Более того, при умном подходе к делу Холюшино подворье может превратиться в серьезного союзника в борьбе за увеличение сельскохозяйственных продуктов».

Таким образом, именно подворье, к которому в последние годы переменился общественный климат, так что стало возможным открыто говорить о его нерешенных проблемах, развязало, значит, языки, и оно же сделало Холюшу положительным героем.

И естественно, что одним из центральных моментов дискуссии было как раз нынешнее положение владельцев приусадебных хозяйств. Понятно, что не с американским фермером, как это имел неосторожность сделать Б. Анашенков, надо их равнять, но «прокормить со своего двора» они способны действительно многих и многих, так что нужно всемерно им помогать и создавать такие условия, чтобы укреплялся их союз с колхозами и совхозами, чтобы этот союз был максимально выгоден обществу.

...и его нравственный закон

Правда, налицо явное противоречие между симпатиями к екимовскому герою со стороны участников дискуссии и ими же отмечаемой активной антипатией к Холюше его односельчан, которые, думается, должны бы лучше нас знать своего соседа. «Да, они признают в нем «хозяина из хозяев», — пишет В. Сурганов. — Однако хозяйские его труды и таланты приносят ему богатство, которое никто не считает праведным».

Как же так получается: Холюша наш союзник, труд его самый что ни на есть праведный, а богатство считают неправедным? Кто же здесь путается?

А никто не путается, скажут мне. «Колхознику или рабочему совхоза и поныне, — поясняет В. Сурганов, — приходится делить надвое свое время и труд, соотносить основной заработок с рыночными и прочими доходами, которые дают приусадебный участок и домашняя живность. При этом в условиях рынка он вообще оказывается в противоестественной, но неизбежной конкуренции с самим собой, выступая, с одной стороны, в качестве производителя более дешевой и массовой общественной продукции, включая и передаваемую в государственный фонд, с другой же, как частник, стремящийся выгодней, а значит, как можно дороже реализовать произведенный в личном хозяйстве товар».

Холюше как инвалиду и пенсионеру «делить надвое» нет нужды, вот он и оказывается в более выгодном положении, вот ему и завидуют. Более того, в сегодняшних условиях вести приусадебное хозяйство, и до сих пор не пользующееся требуемой поддержкой, весьма затруднительно: тут не обойтись без необычного Холюшиного трудолюбия, равно как и многочисленных «исхищений», на которые способен далеко не всякий. Наконец, многим хуторянам Холюша просто в укор, как заноза в глазу. Они не желают не только надрывать, как он, они вовсе предпочитают прохлаждаться, потому что имеют возможность и привыкли красть при малейшей необходимости...

И тем не менее путаница, и весьма значительная, остается. Остается потому, что в рассказе труженик полностью заслонил собственника в характере главного персонажа. У Б. Екимова напрочь

отсутствует нравственное лицо Холюши как «частника», как накопителя. И «нажива», и «богатство», о которых уверенно говорилось в ходе дискуссии, и его «многие тысячи», о которых знают Холюшины соседи, остаются для читателя пустым звуком. Деньги, как известно, имеют свою малопривлекательную власть, но хоть каких-либо проявлений этой власти в рассказе нет, как нет и драмы бездумного накопителства, драмы скупого рыцаря, вкальвающего от зари до зари неизвестно во имя чего или кого. За его любовью к труду, к земле, к животине потерялось, что Холюшина душа наглухо отгородилась от людей, что они ему никакие не ближние, что в его сердце не нашлось места ни для одного человека. Писатель исключил все эти и любые другие подобные коллизии из рассмотрения, тем самым волюно или невольно скрыл правду характера своего героя, правду жизни... Недаром в рассказе так глухо и непонятно звучит мотив пресловутой гармошки, в которой Холюша то ли хранил свои «многие тысячи», то ли нет. А ведь наверняка должен был хранить, ведь их у него должно быть много больше, чем мог он решиться держать на книжке... И уж тем более странно читать, и даже не в одной статье, о «долге государственного кормильца», который Холюша будто бы считает лежащем на нем. Где уж ему думать о государстве и его заботах, когда у него не встречаешь ни единого сердечного движения возлюбить хотя бы ближнего своего? Между тем в конечном счете как раз для этого — для того, чтобы человек на земле стремился любить не только землю, но и ближнего,— и начата была великая коллективная перестройка в деревне, во имя этого нового, но извечно притягательного нравственного закона...

...Таким образом, в реальности живой, неидеализированный Холюша должен был вызывать весьма противоречивые чувства, хотя трудится он как настоящий праведник, являя всем окружающим кричащий пример и немой укор.

Однако подлинный нравственный облик екимовского героя редко и далеко не последовательно вставал перед глазами участников дискуссии. В результате единственным мерилом Холюши сделались его исключительное трудолюбие и совестливость, в результате извечный нравственный закон крестьянской жизни, который в рассказе воплощает Холюша, свелся лишь к этим весьма привлекательным ипостасям. В результате, когда Б. Анашенков, В. Пальман и А. Обертынский праведно и бескорыстно защищали крестьянский труд, труд на земле от умаления и возвеличивали его как изначально нравственный; когда они справедливо отстаивали огромную роль «вековых бесценных вкраплений трудового и нравственного народного опыта, которые передаются (должны передаваться!) только из рук в руки, теплыми, живыми, опозитизированными», но при этом возводили в образец «Холюшин дух», тогда обнаруживалось: или реальный и до крайности мучительно противоречивый «нравственный закон» крестья-

янской жизни приобретал на примере идеализированного Холюши исключительную благостность; или реальный Холюша должен утрачивать моральное право воплощать такой урезанный, идеализированный «закон».

И, конечно, А. Стреляный во многом прав, когда пишет: «Не надо именовать нравственным законом то, что к нему имеет лишь некоторое косвенное отношение...» Действительно, понятие нравственного закона предъявляет самые высокие требования отнюдь не только к «трудолюбию, совести и вдохновению крестьян». Вместе с тем эти самые трудолюбие, совестливость и вдохновение в работе, ставшие постоянной и беззаветной потребностью, обладают заметной самостоятельной творческой силой — и, наоборот, их отсутствие сказывается силой не менее, если не более действенной, но разрушительной.

Поэтому к следующим строкам А. Стреляного: «Не надо паниковать и пугать честной народ, не надо, говоря о потере им самоуважения, гордости за чисто скошенный луг и ухоженную животину, любви к земле и труду,— не надо видеть в этом причину, тогда как перед нами всего-навсего следствие»,— к этим словам следует отнестись критически.

Причина и следствие, как известно, имеют свойство меняться местами. И хотя все мы исповедуем вечное и непреложное правило: бытие определяет сознание,— помним и другое: идея, овладевшая человеком, становится материальной силой (равным же образом и антиидея).

Так что, отдавая нехватке хозяйственной самостоятельности трудовых коллективов пальму первенства как первопричине утраты трудолюбия и совестливости, как это делают Г. Лисичкин и А. Стреляный, нельзя, как они, односторонне считать нравственный закон лишь следствием хозяйственных условий. Взять хотя бы сверхнаглядный пример из рассказа Б. Екимова: в пределах своего подворья хозяйственной самостоятельностью, близкой к Холюшиной, обладают все на хуторе, однако Холюша среди них — исключение.

Да, говорит Г. Лисичкин, но он именно «исключение из правила, а правило предопределяют такие люди, как электрик Митька... Митька же оказывается опустошенным именно потому, что все недостатки, которые я скороговоркой упомянул в связи с волевыми методами руководства нашим сельским хозяйством, лишили его возможности и необходимости быть хозяином».

Верно, нет хозяина — нет и нравственного закона в душе человека. Но, с другой стороны, не вошел такой закон в его сердце — не станет человек хозяином... Это как две стороны одной медали.

...Так в том-то и дело, что не хватает условий для хозяйствования, говорят Г. Лисичкин и А. Стреляный. Создайте их — и возродится нравственное отношение к работе и жизни.

В общем, в принципе, конечно, так. Но в живой реальности процессы нравственного возрождения людей, получивших «возможность и необходимость быть хозяином», будут гораздо сложнее, противоречивее и мучительнее. И причиной тому как раз то, что Холюши и Пряслины все более становятся исключениями, а Митьки все более определяют правило. А количество, как известно, переходит в качество.

Правда, в дискуссии приводились яркие примеры быстрого роста трудолюбия, когда у людей появлялись материальная заинтересованность, выгода. Тем не менее в том, что говорит по этому поводу А. Стреляный, слишком много противоречивого:

«Трудолюбие... дело наживное, а наживается оно материальным интересом и экономическими условиями, в которые поставлен человек. Причем и наживается оно и теряется довольно быстро. Сделайте так, чтобы лодырь не шел к окошку кассы за получением пособия в виде зарплаты, а клал зубы на полку, и «нравственный закон» тут же заговорит в нем во весь голос, «восполнимость» будет полной».

Публицист неверно смешивает здесь «материальную заинтересованность» и «экономические условия», «трудолюбие» и «нравственный закон». Между тем трудолюбие есть лишь одна из составляющих нравственного закона, и для того, чтобы воспитать ее, человеку часто достаточно именно материального интереса, выгоды. Однако восполнить нравственный закон трудовой жизни в целом они не в состоянии. Для этого потребно не что-нибудь, а именно соответствующие экономические условия, хозяйственная самостоятельность коллектива или человека, которая, в свою очередь, недействительна без нравственного закона, без совестливости и вдохновения в работе, сплывающих людей воедино. А вот они-то, как подсказывает бесстрастный опыт, имеют неудобное свойство вырабатываться в несравненно большие сроки, буквально целыми поколениями.

С другой стороны, неприемлема и противоположная крайность, которую выразил А. Обертынский, написав: «А. Энгельгард утверждал, что талантливых пахарей немного, и А. Стреляный с этим согласен: «В среде пашущих точно так же, как в среде пишущих: настоящих мастеров, поэтов мало». Все так, и тем не менее не будем забывать и подчеркнем с самого начала: судьбы земледелия (и литературы) мы связываем с ними, с поэтами своего дела!»

Напрасно, однако, подчеркивает А. Обертынский. Если судьбы литературы определяются действительно мастерами, а ремесленников могло бы и вовсе не быть (хотя и тут задумаешься о потребностях читательской массы), то судьбы земледелия решают именно массы земледельцев, а никак не отдельные мастера, и именно для того, чтобы масса могла решать эти судьбы, ей требуются, совершенно необходимы определенные «экономические условия» — те, о каких пекутся Г. Лисичкин и А. Стреляный.

Тут вообще сталкиваешься с такой необъяснимой странностью, что, всей душою болея за нравственный закон, и Б. Анашенков, и В. Пальман, и А. Обертынский никак не хотят обратить внимание на его роль и важность прежде всего в артельных, коллективных, общественных отношениях. Более того, не заботит, не волнует их как-то — на деле, а не на словах — судьба таких отношений.

Вот, например, реалистически, логически вроде бы возражает В. Пальман А. Стреляному: «Если того же Митьку прижать рублем, он зубы на полку не положит и строгой законности не испугается. Учен. И многожды. Потому и выход знает. Скатает ему супружница бельишко на первый случай, и уже завтра поутру Митька возникнет в отделе кадров какого-нибудь важного завода в городе, где его с радостью примут, а он не без удовольствия прокантуется несколько месяцев в общежитии, а потом получит ключ от новенькой городской квартиры. Только его и видели в деревне!»

В. Пальман ставит здесь не точку даже, а восклицательный знак. А вместо этого публицист мог бы сделать и естественный вывод о давно существующей необходимости «прижать рублем» везде, а еще лучше — создать надлежащие условия хозяйственной самостоятельности не только в деревне, но и повсюду — на производстве и в любой другой сфере труда.

Тогда бы всем Митькам некуда стало податься.

Тогда наконец стали бы уходить в прошлое замшелые волевые методы управления, все еще продолжающие стопорить наш хозяйственный механизм и морально коверкать людей...

«Один безнравственный, но во всеоружии современного знания, опыта, техники человек способен в кратчайшие сроки нанести окружающей природе, обществу,— мрачно констатирует Б. Анашенков,— ущерб, который еще несколько десятилетий назад был бы не под силу и тысячам, а то и десяткам тысяч людей». Действительно способен, к огромному сожалению. Но более страшно то, что происходит и без участия НТР,— сошлюсь снова на И. Васильева: «Калининская область засеивает льном 150 тысяч гектаров. За последние десять лет только четырежды выполнен государственный план продажи волокна. А план — чуть побольше пятидесяти тысяч тонн, то есть три центнера с гектара, когда повсеместный урожай «на корню» в два раза выше. Куда девается волокно? Уходит дымом в небо, то есть сжигается, немислимо подумать, половина урожая!..»

Но, могут сказать мне, дальше-то что пишет И. Васильев? «И какие бы объективные причины при этом ни выставлялись, главнейшей остается именно эта — успокоенная совесть человека».

Правильно — конечно, совесть. Но какая? Не просто «раскрестьянная», а прежде всего «расхозяйствованная».

Ведь вот что пишет затем И. Васильев на той же странице: «Поиск новых путей и форм соединения личного заработка и, конечно,

произведенного работником продукта в сегодняшних условиях приобретает чрезвычайно важное значение. Имеющийся опыт позволяет сделать вывод, что наиболее результативной является форма «коллектив — хозяин поля»*.

Таким образом, как ни остро стоит вопрос с «нравственным законом» и «раскрестьяниванием», в первую очередь нужно избавиться от «расхозяивания»: в деревне и в городе, на земле и на заводе — везде.

1982

ГЛАВЫ КНИГИ ЦЕЛОЙ

По прочтении сборника очерков Натальи Колосовой «Я встретил Вас...» (изд-во «Московский рабочий», 1983) испытываешь прежде всего чувство истинной признательности: автор возвысила нас своим благоговейным знанием сокровенной жизни тех немногих, кто составляет славу и гордость литературы русской...

Да, возвысила, потому что доверила нам тайники великих душ, те тайники, где гениальные прозрения о судьбах всечеловеческих мучительно переплетались с томительными упованиями и заблуждениями о собственном, личном, супружеском, семейном, любовном счастье.

Да, возвысила,— если мы разделили с автором ответственность приблизиться к этим тайникам с одной-единственной целью: проникнуться просветляющими уроками того, как высочайшие нравственные идеалы поверялись реальностью самых тонких и самых глубоких отношений, какие выпадают на долю людям,— или наоборот: какую печать на страстный и увлеченный, уважительный и откровенный союз наложили те святые порывы, во имя которых творец обрекает себя на служение Искусству и Жизни. Ведь именно с этой целью автор и взяла на себя смелость поделиться с нами своим трепетным знанием, рассказать историю любви одного, и другого, и третьего своего кумира, попытаться объяснить драмы сердец творца и его избранницы.

Несомненно, задачу автор выбрала весьма сложную и даже опасную, поскольку в основе рассматриваемых ею высоко нравственных коллизий изначально лежит момент чувственный, и приходится касаться покровов, к которым обычно предпочтительно не дотрагиваться. Думается, что Колосова везде соблюла требуемую в ее разговоре меру. А если у кого-то и возникнет впечатление иного рода,

* Иван Васильев. В краю истоков. М., «Современник», 1981, с. 175.

то причиной тому, с нашей точки зрения, может служить только следующее обстоятельство: в очерках Колосовой суть жизни великих, о которых она пишет, — само их творчество оказывается на втором плане, чаще всего не исследуется, а рассматривается как данность, — просто как безусловные и известные каждому художественные образцы.

Но в этом-то как раз другая смелость очерков, в которых автор решилась увидеть творца и избранницу равно интересными, равноценными, для себя — и равноправными, равнозначимыми для нас. Творчество же разводит их на заслуженное каждым место, то есть неизмеримо возносит одну сторону над другой. И это абсолютно справедливо, — но не для той цели, что поставила себе автор. Ей-то требовалось не отдать предпочтения величью творцов перед «обыкновенностью» избранниц, равно как и избежать естественного сочувствия «слабому полу» перед слабостями великих. Вот откуда в очерках способная показаться излишней дотошность, настойчивое стремление не обходить ни одного известного автору свидетельства, ни о чем не умолчать — и даже подчеркнутая, задиристая бескомпромиссность.

Вот «Неизменно склоненный к тебе» — заключительный и самый глубокий очерк книги, повествующий об Александре Александровиче Блоке и Любви Дмитриевне Блок-Менделеевой. Их любовь и особенно супружество способны вызывать не просто непонимание, но и недоумение и осуждение. «Конечно, не муж и не жена», — писала Любовь Дмитриевна о своих отношениях с Блоком, в которых наряду с «основным курсом» близости и единения их душ в течение всей многолетней совместной жизни постоянными были и не считались изменой «дрейфы в сторону». «...Что бы ни случилось с нами, как бы ни терзала жизнь, — пишет она же, — у нас всегда был и выход в этот мир, где мы были неизбежно неразлучны, верны и чисты».

Как такое возможно, кто первопричина тому? Поэт, говорит нам автор, — поэт и человек Блок, каким он был рожден, и сам себя создал. «...Еще в 17 лет Блок, заполняя импровизированную анкету, на вопрос «Мой идеал счастья» ответил: «Непостоянство», а «Что было бы для меня величайшим несчастьем» — «Однообразие во всем». Но он же вскоре писал Любви Дмитриевне: «...я искал долго и страстно именно этих непоколебимых устоев...» И вот его слова спустя много лет: «...Только я один люблю мою милую, но не умею любить (разрядка наша. — Д. И.) и не умею помочь ей».

Поэт не смог, не сумел соединить, слить гармонически противоположные начала — и даже, вероятно, не хотел этого, что могло явиться, как видно из одной прозорливой параллели Колосовой, «результатом его настойчивого смещения (разрядка наша. — Д. И.) идеального и реального».

Но вот другой очерк — «Последняя страница моей жизни» — о Чехове и Книппер-Чеховой.

«И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой... Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это наконец! Ты самый близкий и дорогой мне человек, я любил тебя безгранично и люблю, а ты расписываешься «приятной» женщиной, чуждой мне и одинокой...»

«Ведь ты моя жена, пойми это наконец!» «Наверное, — читаем мы у Колосовой, — ему казалось, что смысл этих слов настолько глубок и емок, что нет надобности распространяться насчет того, как должно поступать. В этом отношении они были очень разными людьми, и невероятная чеховская сдержанность, замкнутость были для Ольги Леонардовны чужды, непонятны и мучительны.»

«Осенью 1902 года, — продолжаем мы читать очерк, — после того, как недоразумения прошлого года, несколько омрачавшие их отношения, рассеялись, Ольга Леонардовна пишет: «Мне кажется, если бы мы были вместе все время, ты охладел бы ко мне или привык, как привыкают к столу, стулу... Я права? А мы с тобой оба недоконченные какие-то». И вот здесь впервые Чехов отвечает ей со всей определенностью: «...Не знаю, дуся, закончен я или нет, только уверен в том, что чем дольше жил бы с тобой вместе, тем моя любовь становилась бы глубже и шире. Так и знай, актрисуля». Казалось бы никаких сомнений — ясно, четко дал понять Ольге Леонардовне Чехов, что он может и хочет жить с ней вместе. Что же Ольга Леонардовна? «Ты мне милое письмо прислал, дуся мой. Я тебя люблю за это. Что-то в нем есть существенное». И только.»

Как видно, здесь ответственность за то, что семейная жизнь Чеховых складывалась не лучшим образом, автор определенно возлагает на избранницу писателя, — и нам не кажется, что Колосова тут пристрастна.

Кстати, были ли мы слышаны ранее о тех или иных моментах семейной жизни Пушкина и Тютчева, А. К. Толстого и Л. Н. Толстого, Чехова и Блока, о которых пишет Колосова? Безусловно. Хотя в общем-то обыкновенно читатель и творчество их лишь «проходит», а книги великих потом, как правило, «почитывает» разве, ну, а уж сама их жизнь — вовсе для него тайна за семью печатями, в то время как она-то, может быть, в первую очередь важна нам сегодня как ярчайший пример степени соответствия слова и дела. С другой стороны, в наше время, особенно в последние годы, информация в связи с личными отношениями и склонностями классиков русской литературы (и не только классиков) то и дело становится доступной и для самого широкого читателя.

Хорошо ли это? Не следует ли выставить здесь могучие заслоны,

оставив соответствующие каналы лишь для тех, кому надлежит быть посвященным? Думается, ответ следует дать по аналогии с тем, какой давал недавно академик Д. Лихачев по близкому, как нам кажется, поводу на страницах журнала «Огонек», рассчитанного прежде всего именно на миллион «непосвященных».

«Нынче — «книжный бум». Книголюбов, книгоцеев прибавилось в общем-то не так уж много. Но любителям украшать квартиру книгами несть числа. Плохо это? Думаю — хорошо. Потому что, если продолжить линию рассуждений в будущее, может быть, не в такое уж далекое, уверен, все большее число «украшателей», или их детей, или внуков станут открывать книги, перелистывать страницы, читать, проникаться. Духовное развитие — процесс медленный, не в пример медленнее стремительных темпов НТР».

Да, мало того, что запретный плод, как известно, особенно сладок. Главное же — пусть приходят ко всем и каждому знание, истина, правда, — в какой-то момент они обязательно сделаются для любого человека нравственными.

Эту нравственную правду читатель найдет и в рассказе о любви Льва Николаевича Толстого к Валерии Арсеньевой — «наиболее серьезном» увлечении писателя до С. А. Берс; и в очерке «Сестра моей души», посвященном жизни Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых; и в скорбной повести тютчевской страсти к Е. А. Денисьевой. В последнем очерке у автора заметна, пожалуй, робость первой попытки, а что существеннее, — и Денисьева, и Э. Ф. Тютчева, жена поэта, оказываются здесь не равноправными с Федором Ивановичем, не равно с ним представленными читателю. Многочисленные искренние свидетельства страданий и раскаянья самого поэта в отсутствии почти единой строчки тех, кого он заставлял страдать, хотя и любил (да, истинно любил обоих, как это ни нетипично!), — эти свидетельства невольно настраивают нас в пользу того, кто создал столь драматическую коллизию: мы слышим смертельно тоскующий голос, и это примиряет нас с поэтом.

Наконец, нам осталось сказать об очерке, открывающем книгу, — «Друг мой женка». Разговор о Пушкине — всегда самый ответственный, и названный очерк Н. Колосовой, думается, отвечает этому критерию.

В наши дни защищая Наталью Николаевну от прежних наветов уже нет нужды, но по возможности четко выявить подлинную меру всех обстоятельств в трагической ситуации, перед которой оказался поэт, — задача по-прежнему насущная.

Пушкин, пишет автор, успокаивает жену «то по поводу графини Соллогуб, то Смирновой, о знакомых дамах старается говорить подчеркнуто пренебрежительно (и Керн не пощадил!), и вообще — «грех тебе меня подозревать в неверности». Была ли, однако, Наталья Николаевна несправедлива в своих подозрениях?»

«Я не верю сплетням — я верю стихам,— писал не так давно весьма вдумчивый пушкинист В. Непомнящий,— в них он не умел лгать: лирика тридцатых годов страстно устремлена к строгости и целомудрию».

Мы готовы уверенно разделить это мнение, а не сомнения автора книги «Я встретил Вас...», однако вспомним еще раз письма Пушкина. Ведь все его разуверения действительно «подчеркнуто пренебрежительно», написаны с каким-то принужденным смехом — и это не случайно. Подозрениями Натальи Николаевны Пушкин расплачивался за «коварные старанья преступной юности моей», она имела на них право независимо от его истинного поведения,— и поэт тягостно сознавал и переживал это право любимой.

«Неосновательны нарекания,— старается сказать мягче Колосова,— по поводу совершенно равнодушного отношения Натальи Николаевны к творчеству Пушкина».

Нет, утверждает Непомнящий, «ее не хватало на поэзию. И это было самое грозное».

Для доводов здесь обеим сторонам слишком недостает фактов, но вряд ли можно согласиться с тезисом Непомнящего: «Его дар и призвание стали между ним и ею, как стена». Дар Пушкина в последние годы его жизни для большинства, в том числе и для самых чутких к поэзии, оказался не «по зубам». И в этом была одна из главнейших причин трагедии, которая шла к Пушкину, но невозможно и думать, чтобы именно это обстоятельство могло разделить любящих жену и мужа.

В. Непомнящий совершенно правильно пишет, что Пушкин женился, когда «ответственность за себя перестала быть частным делом. Она потребовала жить «как люди» — как народ живет,— чтобы иметь право учить».

Но, отвечая за себя, до конца ли оказался поэт ответствен за жену? «...Я ни за что на свете не допущу, чтобы моя жена терпела лишения, чтобы она не являлась там, где ей предназначено блистать, веселиться... Чтобы сделать ей удобное, я готов пожертвовать всеми моими вкусами, страстями, всею моею жизнью, вполне свободною и прихотливою».

Это Пушкин писал в 1830 году. Но уже спустя четыре года —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Он не успел, не сумел, не решился осуществить этот побег, не успел тем самым снять с жены ответственность, оказавшуюся непосильной для Натальи Николаевны,— кто же из них «виноватее»?..

Н. Колосова не решается дать ответ — и это, наверное, самое справедливое.

«ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ ИСПОЛНЕНО...»

«Солдаты! Друзья мои! Мне доносят: рабы освобождены мною, но закабалены новой кабалой; мне доносят: перуанские деньги, смирившиеся перед силой вашего героического оружия, по-прежнему сильны... мне доносят: вражда и ненависть не кончились в этом мире; мне доносят: брат по-прежнему порабощает брата, попирая Свободу... мне доносят: ложь и клевета по-прежнему господствуют в этом мире; мне доносят: даже героическая смерть ныне не освобождает человека от клеветы на него... мне доносят: по-прежнему великое слово «свобода», ради которого мы положили и честь и жизнь, служит прикрытием пагубы и корысти; мне доносят, что великая Любовь по-прежнему беззащитна, а предательство по-прежнему сильно».

Эти горькие, но справедливые слова выхватывает из своего сердца перед забитой людьми огромной площадью главный герой нового романа Владимира Гусева «Огненный ветер Юга».

В. Гусев и ранее обращался к историческим повествованиям, в центре которых были декабрист Михаил Лунин и великий деятель Латинской Америки Симон Боливар. В новой книге он рассказывает о сподвижнике и, кажется, главном сопернике Боливар — национальном герое Аргентины генерале Хосе де Сан-Мартине, верховном Главнокомандующем, Освободителе Юга, правителе Единого Юга...

Роман своеобразен. И суть не в том просто, что хроника исторических событий здесь на втором плане, а на первом — проникновение в дух времени и душу народа. Для этого проникновения писатель избирает особую форму — нелегко воспринимаемую, но органичную авторскому замыслу. В «Огненном ветре Юга» нет привычных сюжета, фабулы, нет обыкновенного развития романного действия и характеров действующих лиц, у них нет даже имен. Нет в романе и того решающего сражения при Майпу, к которому устремлены, в котором сошлись все герои книги и которое на рубеже 20-х годов прошлого столетия должно было определить будущее Юга Южной Америки.

Но есть в романе сам этот Юг; есть ярость борьбы как за Свободу, так и против свободы — «ярость, которая непредставима в Европе, а представима лишь в этих вулканных, в этих равнинных, в этих ледовых и огненных землях»; есть народ «с невиданным и мощным, могучим смещением крови, наций и рас», «ведь если сравнить нас со всем человечеством, то мы — это оно, только резче, гуще и крепче; только острее и контрастней».

Владимир Гусев влюблен в этот народ, в этот континент, в их историю и их героев. И его манера прозаика, которой немало присущи черты романтизма начала века прошлого и символизма начала века нынешнего, впервые, быть может, нашла себе соответственные лица и события для воплощения.

Семь обобщенных фигур, семь романтических историй, семь символических образов: солдат, предатель, бригадир, адъютант, офицер, командующий, женщина — смогли оживить, запечатлеть, выразить единый Образ — образ Юга. И образ центрального героя книги.

Главное, что пытается разгадать в нем Гусев,— это его Спокойствие.

Хосе де Сан-Мартин бился за Свободу, хотя заранее знал, что все останется по-прежнему. Он брал на себя Ответственность за бесчисленные жертвы, за жесточайшие смерти. Он верил: «Свобода важна сама по себе...»

Но когда победил, когда был в зените славы, когда мог стать верховным правителем, поехал к Боливару, отказался от всей власти в его пользу и отбыл в Европу.

Почему? Этот вопрос уже свыше ста пятидесяти лет задается снова и снова. Гусев не ответил на него — он написал роман, из которого можно попытаться найти свой ответ. Может быть, и такой?

«...Трудность не только в том простом, что строить труднее, чем разрушать; тут трудность и в том, что дух разрушения, раз овладев людьми, имеет свою последовательность; тут трудность и в том, что разрушается нечто одно, а создавать надо, имея выбор, притом неопределенный».

Свобода пришла, но сделать выбор генерал не смог. Ему только «доносили» обо всем — он был слишком высоко над людьми и не решился отвечать за новую Свободу.

1985

КАК ДЕЛА, МУЖИКИ?

Встретились недавно у писателя Анатолия Афанасьева слова: «Положительный герой в том значении, в котором принято говорить о нем сегодня (то есть во многом герой идеальный, социально активный, но занятый преимущественно повседневными, насущными делами), легко рождался литературой в переломные эпохи, в пору революционных битв и социальных потрясений».

Думается, что и в переломные эпохи положительный герой рождался не так уж «легко», как представляется писателю. Сама же формула привлекает тем, что Афанасьев в ней подчеркивает роль и значение дел — тех самых повседневных и насущных дел, которые в наши дни действительно даются труднее, чем раньше.

Однако случается у создателей современной литературы, особенно тех, которых по привычке все еще называют «молодыми», что дел в их книгах вроде бы много — больших ли, повседневных, личных, — но существо дела обходится...

Холостые слова

Если кому-то имя Вацлава Михальского встречается впервые, познакомим его с авторитетным мнением В. П. Катаева: «Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта. У него верный глаз, острый аналитический ум. Он прекрасно владеет словом и знает ему цену. Ведущая сила его творчества — воображение».

Нам, однако, эта точка зрения одного из уважаемых писателей всегда представлялась спорной. Взять и последний роман Михальского — «Тайные милости».

Он уже вызвал критическое к себе отношение. Н. Иванова в «Литературной газете» (19 октября 1983 г.) писала: «Герой тридцатитрехлетний Георгий Васильев (отметим многозначительность названия романа, имени героя и его возраста; в романе вообще детали очень многозначительны) — зампредгорисполкома. Герой («победитель») представлен читателю автором как прирожденный лидер, хороший организатор».

Тут следует сказать, что критик все-таки еще и завышает оценку этому персонажу. В романе Васильев «представлен» не хорошим организатором (если бы! — тогда бы мы действительно увидели его в деле, соответствующем его посту), а лишь энергичным исполнителем, способным убедительно изобличить нерадивых работников.

«Председатель горисполкома, — продолжала Н. Иванова, — собираясь перед пенсией сменить прописку на московскую, хочет посадить Васильева в свое кресло (и «шеф», и автор, правда, почему-то не принимают в расчет тот факт, что должность «мэра» у нас в стране выборная, а не назначаемая, но это, видимо, мелочь), о чем сообщает ему, одновременно поручая разобраться в ситуации с водоснабжением города».

(Заметим, тоже в скобках, что «шеф» и автор помнят об этой «мелочи», и на страницах романа несколько раз упоминается о предстоящей сессии горсовета; так же и прописку «шеф» намерен не просто так поменять, а его «приглашают на работу, переводом. Должность большая». То есть в «мелочах» Михальский подкован, отдельные штрихи и подробности функционирования управленческого аппарата как раз и придают определенный интерес его роману).

«И Васильев, — читаем дальше у критика, — активно включается в работу, обнаруживая, что новый водосбор (в книге — правильно: «водовод». — Д. И.), постройка которого требует огромных мощностей, городу практически не нужен... Эта сюжетная линия неплохой обкатана в прозе последних десятилетий; на месте водосборных сооружений могли бы возникнуть цеха строящегося комбината, Васильев — угодить в главные инженеры и т. д., и ничего, кроме

аксессуаров, выполняющих роль пыльного театрального задника, не изменилось бы. Отчетливо это понимая, автор вводит любовную линию — какой же роман без любви?»

Точно, какой же? — и все же тут замысел В. Михальского, хотя и прямолинеен, как трасса нового водовода, но нацелен выявить сокровенное в герое: внезапная, неожиданная страсть к Кате настойчиво встраивает душу Георгию.

«И, словно при вспышке магния, осветившей изнутри всю его душу, увидел в ее бессмертном сосуде, на его внутренних стенках, мельчайшие трещинки лицемерия, угодничества, чванства, карьеризма, недомыслия, равнодушия. Да что и говорить, он уже привык жить напряженно-сдержанной жизнью, чувствовать себя на виду у всего города, как на сцене; он уже научился придавать значение не только своим поступкам и словам, но даже жестам. Иначе говоря, начинал терять драгоценное чувство юмора по отношению к самому себе, бесконтрольно отдаваясь в плен чиновничьих условностей и механической суеты канцелярий. Он еще ловил себя на фальшивых улыбках, на том, как восторженно бьется его сердце от начальственной похвалы, как приятно ему поздороваться за руку с вышестоящим товарищем, еще ловил себя на всем этом, еще подтрунивал над самим собой, но все реже и реже, все глуше и неохотнее...»

Итак, герой Михальского выглядит противоречивым, и таким и сяким, — «амбивалентным», как сказали бы некоторые представители школы «сорокалетних» или «новой волны», к которым часто относили и В. Михальского, пока разговоры о «волне» и «школе» благополучно не завяли. (Между тем, думается, гораздо логичнее относить В. Михальского не к какой-то мифической школе, а сказать, исходя из утвердившихся в критике градаций, что и он, и А. Афанасьев, и С. Иванов, речь о которых впереди, тяготеют к производственной, или городской, — но не бытовой, — прозе, постигая и пробуя продолжать на новом этапе традиции таких писателей, как В. Липатов, М. Колесников, В. Поголевы и другие.) Но о негативных сторонах натуры Васильева узнаешь лишь из его же собственных признаний, точнее, «произносов», — ведь ни одного худого поступка он не совершает (единственный случай с дефицитной шубкой для жены — не в счет). Однако и достойных поступков Георгия — достоинств его поста, требуемых от человека в его должности, — их тоже нет в романе. Если бы В. Михальский хотя бы в рамках задуманного им для Васильева круга обязанностей испробовал его на деле: пусть бы зампред попытался хоть один или другой завод заставить отключиться от пресного, необязательного для них водоснабжения, — сколько реальных коллизий, необоримых конфликтов, жизненной правды, наконец, появилось бы... А ведь в романе-то их, конфликтов, таких, которые не просто названы (иногда и с некоей особой лихостью правдолюбца!), а потребовали бы реального

столкновения, — ни одного!.. И получается: казалось бы, давно почил в бозе теория бесконфликтности — ан нет, живет, возрождается — и теми, кто, наверное, меньше всего чувствует себя ее сторонником...

А на словах Георгий тем временем прозревает все более и более.

«Раньше ему казалось, что все дни его взрослой, самостоятельной жизни были заполнены плотно, и только теперь он понял, что они были просто забыты как бы серой ватой существования — необходимо, но не прекрасного».

«Раньше он любил свою карьеру для самого себя. Теперь он радовался своему будущему повышению для пользы дела».

«Я за то, чтобы использовать по уму, по совести все, чем богаты. Я за резервы, которых у нас край непочатый и в экономике, и в природе, и в человеке — везде»...

Читаешь все эти правильные слова и ждешь: ну ладно, ну пусть тоже на словах, но должен же Георгий развернуться своей встряхнувшейся душой, должен В. Михальский дать ему возможность испытать себя по-крупному — не только в многозначительном, но взбалмошном, необязательном и ни к чему не обязывающем сне с явлением Петра I, но и наяву. И тут... роман обрывается. Обрывается нечаянной, ненужной, художественно нелогичной смертью Кати и суевливым описанием (на трех страницах!) того, как достойно повел себя Георгий в сложившейся ситуации, — описанием, в которое не то что трудно верить, но к которому серьезно отнестись невозможно.

Что же, скажет читатель: одного, другого, третьего нет в романе. А чем же заполнены его страницы, которые можно — и надо — было отдать раскрытию этого не без интереса заявленного, а главное, реального характера — человека с «усохшей душою»?

А заполнены они одной, другой, третьей и т. д. ч у ж и м и историями, — историями родных Георгия, знакомых, близких, соседей, сослуживцев и т. п. В. Михальский то и дело рассказывает нам их, какие-то из них не оставляют равнодушными, чем-то задевают, — но все это в х о л о с т у ю.

Слово это не случайно пришло на ум. Предыдущая повесть Михальского называлась «Холостая жизнь». И она дала тогда нам надежду, что писатель начинает искать серьезные подходы к собственной глубокой теме. (Ибо прежние его книги, опирающиеся в основном на материал последней великой войны, не вызывали в нас большого доверия и сочувствия явной вторичности пересказывавшегося в них.)

Холостую жизнь ведут в повести Алексей Антонов и его друг Игорь, ученые-экономисты. Антонову тридцать семь, Игорю столько же, но он уже доктор наук и подает еще большие надежды. Антонов — только кандидат, но важнее другое: он остро ощущает, что избранная им сфера — не его призвание, и часто тяготится этим. Поэтому «холостую жизнь» надо понимать расширительно: не просто жизнь

неженатых мужчин, но и образ всего существования героев, в первую очередь Антонова.

Однако у Михальского образ этот (где естественный, а где и с навязчивыми, повторяющимися опознавательными знаками душевного неустройства центрального персонажа, вроде памятника, который Антонов восемь лет не может поставить на могиле матери, или другого — «горячего» — камня, временами пугающего Алексея ощущением, будто он лежит у него в животе) в конце концов оказывается лишь поверхностным символом. И не потому, что не получила в повести реального воплощения деловая сторона антоновской биографии, его существования именно как д е я т е л я — нередко так теперь именуют подобный тип благополучного, но бесполезного работника и вообще человека. (Хотя существует для их обозначения понятие старое, но и более выверенное, точное — «паразит»).

Образ же оттого остался на поверхности, что писатель обходит эту кричащую аморальность своих героев, — нам показана жизнь холостяцкая, но не холостящая. Мы видим двух симпатичных, даже славных порою «мужиков»; в крайнем случае, видим несчастного, недовольного собой эгоиста, но не больше. А между тем Антонов с другом и в личной жизни, в этом своем холостом состоянии — тоже паразиты, по меньшей мере, ужасные эгоисты, по-настоящему у ж а с н ы е...

Помнится, когда-то нас резанула деловитая фраза, сказанная В. Липатовым о герое одного из своих романов: «К этому времени Игорь Гольцов, потом Игорь Саввович Гольцов побывал, наверное, в десятке женских кроватей».

Здесь, у Антонова, кровать одна и та же, но сколько женщин в ней бывало, Алексей и не пробует считать. Писатель так объясняет своего персонажа: «В юности он жил монахом, а после переезда в Москву вдруг обнаружил, что женщины охотно выбирают его, что он может веселиться не хуже других, что огонь его еще совсем не растрочен, и он стал пригоршнями разбрасывать этот огонь налево и направо. Словом, как это часто бывает с людьми, одна крайность перешла в другую». И эта другая крайность весьма привлекает Антонова: «А что еще есть лучшего в жизни? Да ни фиги нету! Ни фиги! Ровным счетом. Это единственное, что примиряет мужчину с жизнью».

Несомненно, В. Михальский рисует такое мироощущение и времяпрепровождение как пустопорожнее и болезнетворное, но ограничивается при этом каким-то физиологическим уровнем, как максимум — уровнем душевного разлада, не обнаруживая обязательных в этом случае духовной деградации, распада личности своих героев.

Тоскливая, конечно, жизнь — в достойной «охоте» за новыми знакомствами, но и ощущение тоски в повести тоже весьма слабое. Ибо раз за разом (так же, как писал он раньше и как, — мы это уже

видели, — писал позже) Михальский однообразно нанизывает на свое повествование новые и новые эпизоды этой «охоты». Так что здесь сама собой просится аналогия с мыслью его главного героя: «Женщин было много. Антонов любил повторять: «Тут количество не переходит в качество».

Должное качество отсутствует в повести, наверное, потому прежде всего, что писатель больше сочувствует своему герою, нежели осуждает, обличает его. Антонов у Михальского выглядит лицом страдательным, автор даже — избавиться от этого впечатления никак не удается — доволен им: как же, герой недоволен собою!.. А то, что из-за него страдают дело, люди, по большому счету сама жизнь, — все это в повести растворяется, затронуто мимоходом, мимоходом... Увидеть явление писатель смог, но только этой видимостью и удовлетворился.

Победитель и побежденный

Если у В. Михальского мы познакомились с «деятелями», то теперь поведем речь о людях, для которых их дело — истинное призвание.

Мы всегда с надлежащим вниманием относимся к компетентным высказываниям. Вот и слова Виктора Розова, предварающие публикацию в «Новом мире» первого романа Сергея Иванова «Из жизни Потапова», произвели на нас должное впечатление: «...автор отважился представить нам жизнь нашей научно-технической интеллигенции, вникнуть в те непростые проблемы, которые встают перед ней... добивается, на мой взгляд, очень важного: воссоздания самого процесса творчества, хода мысли, приведшего героя к открытию».

С последним нельзя не согласиться: творческий процесс и погруженный в него человек нарисованы С. Ивановым неординарно, занятно, убеждающе. Думается, каждый, читавший роман, поверил: Потапов — подлинный творец, одержимый, необыкновенный... Увлечательно следить за подробностями того, как он ловит мысль, идею, ищет решение, как к нему приходит вдохновенное: «Сегодня я гений», как свершается «Эврика!», — испытываешь временами захватывающее ощущение разгадывания тайны. Это сродни умному, тонкому детективу, — может быть, потому и привлек сразу немалый интерес роман С. Иванова.

И все-таки, конечно, не к «научно-творческому детективу» устремлен роман. Во всяком случае, в самых первых откликах на книгу Потапов смог даже предстать чуть ли не положительным героем наших дней.

«Способность безраздельно жить Делом, Идеей выделяет Потапова на миру, обеспечивает его человеческое достоинство, — писал А. Панков («Литературная газета», 21 сентября 1983 г.). — ...Дело возвышает личность, и оно же поглощает ее всю, без остатка. Оно готовит человеку

испытания и испытания. Всякий шаг истинного Дела покупается дорогой ценой, в том числе ценой Ответственности и отказа от Игры. Не всем это по плечу».

Но уже вскоре и раз, и два, и больше было замечено, например, что все помыслы Потапова «настолько заняты прибором «Нос», что он, простите за каламбур, дальше носа и не видит ничего... Не видит, что жена собирается его оставить, что ближайший друг и коллега его Олег Астапов давно стал карьеристом и предаст его (Ал. Горловский «Базаров, Чешков и другие?..», «Литературная газета», 6 июня 1984 г.). И добро бы не видел Сан Саныч лишь тех, кто у него под носом. Но у него и в самом деле нет иных идей, кроме технических. Нет того идейного заряда, который мог бы превратить этого честного, порядочного, бескорыстного, одаренного и увлеченного человека в героя».

Мы согласны, что Потапов — творец, но отнюдь не герой. Но каков же характер этого человека, что он собою представляет, кроме честного, порядочного и т. д.? И каковы те «непростые проблемы», встающие перед научно-технической интеллигенцией, которые С. Иванов, кажется, «решился» представить читателю?

Увы, ответить на эти вопросы лично мы, при всем желании, не в состоянии. Писатель ничего по этому поводу сказать не сумел.

Не сумел — или такая задача и не ставилась? Полагаем второе.

Ибо если считать проблемой (а других — нет вовсе) столкновение бескорыстного Потапова и карьериста Астапова на почве «Игры» вокруг якобы неудачных испытаний прибора, за которые несет «Ответственность» Потапов, то автор, заявив таковую, сам же сей момент ее и снимает. Потапов сразу же и окончательно отвергает предложение своего прежнего друга поступиться «Делом», а в дальнейшем ему ничего и не приходится решать самому; все за него решают Луговой — начальник, Стаханов — секретарь парткома, руководители отрасли — и все в пользу Потапова. Астапову никто ни в какую карьеру ход не дает, он всякий раз лишь еще сильнее разоблачает себя. Сан Санычу же только к выгоде оказывается то время, какое он очутился «под колпаком» проверки результатов испытаний: он за этот срок придумывает свой «Нос-2», которому тут же уготована даже не зеленая, а изумрудного цвета улица.

Да, заглавный персонаж романа С. Иванова прямо-таки обречен на успех. Его победительность выпирает с первой страницы, и уверенность в радужном финале, в том, что автор играет со своим героем в поддавки, постоянно сопровождает читателя. Но не одна лишь эта, без труда проглядываемая сюжетная схема вызывает усиливающееся сопротивление по мере углубления в книгу. Еще больше раздражает то, как легко и просто воспринимает Потапов все случившееся с ним.

Друг изменил — ничего. Жена ушла — ладно, переживем. Другую женщину через неделю встретил и тут же готов начать с ней новую

жизнь — совсем хорошо. Не захотела другая — тоже ничего. Без семьи, без дочери остался — «так у многих бывает»... Казалось бы, сердце с головой вместе должны лопнуть, — нет, напротив, творческий процесс не страдает. Ладно, и так бывает — ушел с головой в творчество: все забыл, все на втором плане. Но вот придумал «Нос-2», опустошился — теперь-то что останется? Никому не нужен, никто не необходим... Неужто он не звонит?!

В книге — нет. А по чьей вине? Автора?.. Или сам Потапов такой недочеловек, которому его долгая семейная, но «холостая» жизнь сделалась естественно-безразличной? Что это: эгоизм высшей, творческой марки или душевная недостаточность, сердечная пустота?

«Домашние сцены романа углубляют портрет героя, но и только», — так было сказано А. Панковым.

Домашние сцены ставят нас в тупик. Они, с одной стороны, хоть чуть-чуть проявляют бесплотный, в общем-то, характер Потапова, но вместе с тем они столь поверхностны, что из них трудно что-либо извлечь. «Холостая» семейная жизнь Потапова — обязательная плата за творчество, и жена в такой семье обречена на жертву? Или герой С. Иванова никогда не любил свою Элку, не чувствовал душевной потребности в близком человеке? Если же чувства перемололись, переплавились и супружество стало необходимым, но безразличным состоянием, то в каких горнилах шла эта переплавка и были ли у Потапова муки, прежде чем они сделались мукою?

Не знаем ответа, потому что, намекая на все понемногу, С. Иванов не смог создать правдивый, цельный человеческий характер. Равно как и образ времени.

Слишком приглажена, заглажена, сглажена жизнь в романе. Для примера, пожалуйста, эпизод, который наглядно показывает технологично такого гладкописания:

«Все выходило так грустно... Но за это какое-то везение мне сегодня быть должно. И действительно, повезло. Ни на что абсолютно не надеясь, он зашел в магазин. Спросил у толстого продавца с красными — выдать, после вчерашнего — глазами:

— Чего там, фруктиков у тебя никаких нет, начальник?

— Такой лоб вырос, все ему фруктики, — дружелюбно отозвался продавец. — Вон портвешка-то бери... фруктики...

— Да мне дочке надо, в садик, — сказал Потапов.

Продавец ничего не ответил, но когда Потапов повернулся уходить, он вдруг тихо позвал:

— Э! Слушай-ка, «дочке». Бананов пара килограмм устроит?.. Ну, плати в кассу.

— Мужик, с меня причитается. — Потапов протянул чек.

— Пахнуть будет — нехорошо. А ты к дочке едешь, — спокойно рассудил продавец. — В другой раз тогда... Заходи.

— Зайду! — Они пожали друг другу руки.

Что говорить, такие встречи поднимают настроение. Начинает казаться, будто сам ты жутко обаятельный. А народ кругом сплошь симпатичный... А ведь он, этот продавец, в сущности говоря, жулик жуликом! Торгует бананами из-под прилавка».

Вот и писатель так же «поднимает настроение» читателю и Потапову, постоянно поставляя «из-под прилавка» обстоятельства, которые упрощают жизнь, чтобы она не беспокоила героя и нас заодно. Все — несложно, все — возможно, все — достижимо. Всякой пуговке — своя петелька, любой нитке — тут же иголочка. Все из одного в другое вытекает и втекает, втекает и вытекает... Журчит так ласково, усыпительно, убаюкивающе, — как добрая утешительная сказочка...

А вот Михаил Холмогоров предложил «из жизни ученых» притчу, обличительную притчу — повесть «Комната», с которой дебютировал («Сельская молодежь», №№ 4, 5, 1983) в этом жанре (ранее нам были известны несколько его рассказов).

Как и Потапову, герою «Комнаты» Саблину сорок лет без малого, и он тоже совершает крупное открытие. Но вот дела у него складываются — и складывались — далеко не так благополучно, можно сказать, совсем вхолостую работает человек.

«Светлая голова на плечах идиота», — думает о Саблине его начальник (и он же приятель) Вадим Леонидович. Такую рекомендацию Алик заслужил тем, что увлекался работой без меры, не заботясь, что воспользоваться ее плодами успевают прежде всего разные ушлые «деятели» руководящего ранга. При этом «по способностям» от Саблина берут, а «по труду» не воздают: защититься ему до сих пор так и не выпало случая. Отчего? Да оттого, что хотя «Алик давно овладел искусством сворачивать шею сомнительным призракам», он не может удержаться и не показать своим обидчикам, что знает их истинную цену. А те платят ему соответствующей монетой, подставляют ножи, отодвигают в сторону... «И ты, Вадюша, пока не поздно-то, отступись от него, отступись. Не наш он человек, Саблин».

«Что значит — не наш? И почему я наш, а он — не наш?» Сказать такое Вадим Леонидович может решиться и даже может испытать во сне гибельный восторг, счастье какое-то, когда не предаст (но и жуткий страх и ошеломляющую боль: «Мужество даже во сне дается недешево»). Но наяву он-таки предаст Саблина и оставляет один на один с новым беззастенчивым обиралой.

«Боже мой, что же творится-то!..»

Вот он, успех, в руках — и опять! Опять! В который раз выдрали, украли, и так нагло, так откровенно! Среди бела дня, когда весь наш народ, воодушевленный и так далее... Раньше-то хоть стеснялись, что ли, хоть как-то объяснить пытались, оправдания себе искали. Мы, дескать, постарше, ждали долго, а тебе с твоими-то способностями и проблем не составит, вот, погоди, подрастешь, созреешь... Подрос!

Созрел! Только кто? Вот она — эта травка, юная поросль, акселераты чертовы! Уже и объяснениями совесть свою не затрудняют...»

Как видим, если Потапову жизнь улыбается во весь рот, то по отношению к герою М. Холмогорова реальная действительность оказывается куда суровее, равнодушно взирая, как его «холостят» раз за разом.

Однако за этим тоже встает нарочитость: если Потапов обречен на победу, то Саблин — на поражение.

По мысли автора, оно суждено герою и как расплата за предательства, которые приходилось совершать и самому Саблину. И по отношению к жене, которой он не смог обеспечить благополучного быта; и к старому другу, которого забыл; и к прежним высоким мечтаньям, которые оставил; и даже к стенам родного дома, коммунальное неустройство которого он променял на типовой стандартный уют. А теперь эти стены платят ему тем же (повесть потому и называется «Комната», что в последний раз Саблина «обирают» в учреждении, переехавшем на его прежнее место жительства, в родных стенах, сделавшихся чуждым служебным помещением).

Как видим, М. Холмогоров касается вопросов серьезных, ситуаций реальных, острых. Его повесть-притча куда ближе к жизни, чем умиротворяющая сказочка, к которой свелся такой весь вроде бы земной роман С. Иванова. Правда, «Комната» перенасыщена, думается, нацеленными в одну точку символиккой, параллелями, обрамлениями. И в какой-то момент это уже мешает переживать за героя повесть. А надо, чтобы наша душа болела за Саблина, а не просто смирялась с его судьбой, как он сам смиряется с ней в финале «Комнаты».

«Лишние люди» нашего времени?

У В. Михальского мы познакомились с «деятелями». С. Иванову и М. Холмогорову верим, что их герои воистину творцы, пролагающие новые пути. А как относиться к главным персонажам А. Афанасьева, с чьих слов мы начали весь последующий разговор?

Сам Афанасьев тогда же писал: «Мне лично, как ни вызывающе это прозвучит, все же больше по душе тот герой, который пока в некотором недоумении почесывает в затылке, а не вещает с видом оракула преподнесенные ему в школе азбучные истины или размахивает картонным мечом, никому особого вреда не принося, но производя много лишнего шума. Тот, который в раздумье, все-таки кое-что уже знает, и силы в нем, если доброжелательно приглядеться, зреют немалые» («Рыцарь без доспехов», «Литературная газета», 25 апреля 1984 г.).

А несколькими абзацами ранее писатель прямо выводил читателя на знаменитых предшественников тех, которые ему «больше по

душе»: «Кто они — Онегин, Печорин, Обломов, Райский? По сегодняшним литературным меркам их героями не назовешь — персонажи. Причем положительные или отрицательные, тоже не разберешь. А ведь великие типажи, выписанные гениальной кистью, с ярчайшей национальной принадлежностью, а главное, как раз в них, в их характерах и судьбах, сконцентрировались центральные противоречия и борения сопутствующего им времени».

Несомненно, «почесывание в затылке» не представляется Афанасьеву слишком большой добродетелью — тем более не кажется ему, что такой герой может явиться сегодня выразителем «центральных противоречий и борений» времени.

Однако в подобных поведении и образе мыслей он обнаруживает нечто, с одной стороны, для времени характерное, а с другой — отсутствующее у нынешнего «идеального» героя, какового Афанасьев встречает в современной литературе и который, по мнению писателя, никогда не страдает «из-за вопроса: как жить и зачем жить на свете?»

Меж тем нынешнее время воистину требует самых острых раздумий над этим вечным вопросом; меж тем «приходит срок — и приходит необходимость вновь присмотреться к индивидуальности, постигающей «свою бесконечность», — так писал уже почти два года назад критик В. Камянов («Сюжет и вокруг». «Новый мир», № 4, 1983), обращаясь к творчеству писателей «полусреднего поколения», среди них и к книгам Анатолия Афанасьева.

Герой достаточно давнего афанасьевского романа «Привет, Афиноген» (1979) еще тогда аттестовал (несколько, правда, иронизируя при этом) себя и себе подобных соответствующим образом: «Я не знаю, в чем смысл жизни... Я инфантильный. Понимаешь?.. Инфантильный — я тебе объясню, как критики в журналах объясняют, — это человек, который ищет ответы на простые вопросы. Вроде у него замедленное развитие. Считается, самое необходимое мальчикам и девочкам объяснили еще в детском саду. В том числе и про смысл жизни. А кто не понял, это и есть инфантильный. Самое бранное слово, да. Мечутся, мол, поднимают бурку в стакане воды, а чего метаться, когда все ясно».

Помимо озадаченности простыми вопросами, рефлектирующий герой, находит Афанасьев, рефлектирует сегодня еще и потому, что «он не справляется с качественно новыми духовными перегрузками, не поспевает за колоссально изменившимся и убыстрившимся ритмом существования. Этот герой, запутавшись в красочной, безумной круговерти городского быта, вдруг отчетливо и ясно ощущает свое духовное одиночество...»

Тот же Афиноген Данилов так размышляет по этому поводу: «Иногда в голове моей начинается путаница, стрелка компаса прыгает и скачет, как полоумная, и я забываю, где какие страны света».

Правда, читая роман, нельзя не увидеть, при всем желании «доброжелательно приглядеться», что между первым признанием героя, сделанным в конце повествования, и вторым, сделанным в его начале, совершенно отсутствуют еще какие-либо приметы рефлексии или «почесывания». Единственный раз Афиноген немного колеблется: «Кто я, что я? Ничего не известно...» — перед тем как пойти в загс, но тут же «готов действовать». Во все же остальные сколько-нибудь ответственные моменты он запросто решителен: или на поступки, или на обязывающие слова.

В. Камянов так объясняет эту противоречивость Данилова: «Надо, значит, как-то укротить скачущую стрелку, чтобы она исправно показывала, где север, где юг. Задача эта хлопотная и сопряжена с упорным трудом самовоспитания. Афиноген к такому труду не готов и выбирает способ попроще — лицедейство...»

Облюбованные им роли — ловеласа, циника, рубахи-парня, ироничного интеллигента — не очень сложны в исполнении, а главное, вписывают его разбухшую «самобытность» в какой-то контур, позволяют герою чувствовать себя «в форме»...».

Нам, однако, представляется, что «разбухшей «самобытностью» Афиноген, к сожалению, похвалиться не может. Не ищет он ответы на «простые вопросы», не вникает в «смысл жизни», не «мечется» и не «подымает бури в стакане воды». Все эти значительные слова так и остаются в романе лишь ничем не подкрепленными фразами. Явлен же нам человек, который оказался не при деле, не находит себе применения, на ставит работу, в которой он по-настоящему компетентен, главной целью жизни, — и вот постоянно ерничает и баламутит, эпатирует и задирает окружающих. И мы с интересом познакомились бы с судьбой такого Афиногена, мы бы обязательно приложили усилия, чтобы понять этот характер, если бы... Если бы Афанасьев смог этот характер воплотить, если бы писатель сумел правдиво и живо изобразить реальность, в которой такой Афиноген существует. Но...

«Я теперь пишу, как вздумается, как рыбу спиннингом ловят, взмах за взмахом, то на мель, то в омут, авось, попадется, — ни о чем не беспокоюсь: ни о редакторах, ни о наших деликатных, глубокообразованных, всезнающих, прекрасных, многодумных, художественно-литературных критиках».

Так — вызывающе (по своему обыкновению) — заявлял со страниц романа Афанасьев, который намеренно никак не отделял себя от этого авторского «я». Что же, мы рады бы проникнуться всей оригинальностью писательской самоиронии и вообще иронией, которой роман Афанасьева пропитан насквозь. Однако чаще всего они не вызывают у нас сочувственной усмешки, ибо если по отношению к Афиногену задаваться вопросом: «Уж не пародия ли он?» — позволительно всерьез, то подавляющее большинство остальных действующих лиц выглядит откровенно пародийно: недостатки их выставлены напоказ,

а сути просто нет — пустые «саржи». И это-то и есть главное: не на глубине или на мели чувствуем мы себя с Афанасьевым, — а в пустоте.

В. Камянов в связи с этим полагает: «А институтские события, изложенные наскоро, словно бы с оттенком неловкости перед начитанной публикой, — сюжетный довесок к парадоксам Афиногеновой души...»

Подобная снисходительность нам никак не понятна. Мы согласны, что «институтские события», связанные с возможной сменой руководства отдела, где служит Данилов, не могут быть названы даже бурей в стакане воды, — только бурей в пустом стакане, ибо за ними не стоит никакая необходимость, они просто надуманы и с первого же эпизода производят уверенное впечатление, что все страсти здесь игрушечные, что все описывается «понарошку»... Но ведь в таком пустом (а занимающем сотни страниц) «довеске» и «парадоксам души» невозможно проявиться, вернее даже, они, парадоксы эти, делаются от этого вовсе несерьезными. А кроме того, такими же довесками оказывается и большинство судеб, оконтуренных в романе, — безразлично, захвачены ли они сетью «институтских событий» или претендуют на самостоятельность, выхваченные тем либо иным броском афанасьевского спиннинга.

Афиногену же и самому по себе слишком не хватает достоверности. Задира он, забияка, как уже отмечалось, но почему-то достаются ему одни слабые соперники; начиная от троицы подвыпивших юнцов, которых Афиноген сначала «раздухарил» и с которыми потом со смаком и самодовольством расправляется, и кончая добродушным директором института, что позволяет Афиногену беззастенчиво резать неприглядную правду-матку. И хотя, по Афанасьеву, получается, что его герой такой уж независимый, что и любому держиморде не побоялся бы сказать то же самое, но как раз эта крайняя независимость еще пуще пораживает нас.

У нынешнего «лишнего человека» обычно нет какого-либо «дяди самых честных правил», а иметь где-то «руку» тоже еще не в его обыкновении, так что тут не до жиру — быть бы живу. Зато, как любой и всякий, он связан многими нитями с родными, близкими, приятелями, коллегами: за кого-то болеет, чью-то сторону берет, к кому-то не примыкает... (Из другой, но близкой сферы искусства можно вспомнить такие незаурядные фильмы, как «Осенний марафон» или «Полеты во сне и наяву», где тоже выведены современные «лишние люди», — вспомните, каковы их герои). И не только независимым, но и немного самостоятельным ныне быть рефлектирующему персонажу очень затруднительно, даже если он большой эгоист (а все «лишние» — эгоисты; это хоть и азбучная, но истина). А Данилов у Афанасьева и не эгоист; и независимый дальше некуда; и, не делая никому добра, умудряется пребывать и по другую сторону зла...

«Поймите!» — обращается прозаик к своей аудитории», — так, считает В. Камянов, поступают А. Афанасьев и другие «молодые прозаики, обостренно внимательные к внутреннему укладу интеллигента».

«Очень хотим понять, — говорим на это мы, — но сначала: изобразите!»

Возьмем следующий роман Афанасьева — «Командировку». «Хроника служебной командировки, — писал о нем В. Камянов, — вдруг оборачивается странным репортажем о самоиспытаниях героя-повествователя, которому подвернулась подходящая для такого дела полоса препятствий».

Да, в романе рассказывается о том, как Виктор Семенов, тоже научный сотрудник, только уже 37-летний, посланный разобраться в неполадках некоего прибора, вдруг начинает выводить подряд всех на чистую воду, вплоть теперь уже до двух директоров, своего и чужого, — для чего он готов идти «сначала в министерство, потом в ЦК. Как положено». Но нам лично кажется необыкновенным, совершенно удивительным то, что до 37 лет ему никак не «подвертывалась» такая — типичная в наши дни — ситуация, когда надо было отстаивать явную правду; что до 37 лет он равнодушно взирал на схожие «препятствия» (будь по-другому, будь он и раньше охотником до «чистой воды», кто бы его отправил в эту командировку!), а тут сразу узрел и ополчился, да еще, как привычно у Афанасьева: «Пришел, увидел и, сами понимаете, — победил!» В общем, прямо-таки не полосу препятствий расставляет, а ковровую дорожку всякий раз стелет писатель своим героям... Как здесь не вспомнить собственные слова Афанасьева, но сказанные по поводу героя, который ему не «по душе»: «Созданный по схеме, но с добрыми намерениями «идеальный» герой, как и следует, к концу повествования оказывается победителем и с честью выходит из всех затруднений. Узелок, к удивлению читателей, разрубается в этих случаях топором».

Что же, зеркало автору, зеркало!..

Вот и в «Командировке» снова почти все «понарошку», — кроме истории любви Виктора и Наташи, но вряд ли стоило из-за одной нее весь остальной огород городить. И если кому-то из критиков видится, что афанасьевский Семенов примеряет к себе маску Печорина, то мы все-таки и о рефлектирующем герое хотим судить прежде всего по делам, а в маске правдоборца, надетой на него писателем, мы никак не можем причислить Виктора и ни к «лишним людям» и ни к донкихотам... Нам видится тут другой персонаж — тот, о котором сказано: король-то голый!

* * *

Не так давно критиком и литературоведом В. Ковским была высказана мысль, которая показалась нам донельзя странной: «Имея

дело с «неготовым» (М. Бахтин) материалом текущего литературного процесса, с незавершенными творческими судьбами, с именами, быть может, еще не достигшими высших своих творческих точек, следует, нам кажется, быть предельно осторожными и щепетильными в оценках. Эта внутренняя установка полезна еще и потому, что критика и литературоведение в данном случае не просто изучают ход литературного развития, но и участвуют в нем, и подобное участие способно оказывать на результат отнюдь не только благотворное воздействие» («В масштабе целого». «Вопросы литературы», № 10, 1983).

Зная нашу повседневную критическую практику, мало кто усомнится, что разговор тут ведется об оценках со знаком «минус», — о знаках «плюс» у нас заботятся куда меньше, независимо от того, достигнуты, будут достигнуты или никогда не случались «творческие точки».

Несомненно и то, что всякий, критикуя, желал бы оказывать лишь «благотворное воздействие». Но ведь для этого во все времена требовалось быть объективным, но и обязательно строгим; требуется быть не «предельно осторожным и щепетильным», а в первую очередь предельно заинтересованным и взыскательным. Последнее еще в большей степени, чем критикам, необходимо самим творцам, чтобы понятие «молодые прозаики» (давно уже перевалившие за сорок лет) наконец-то не ассоциировались с понятием «малознакомые имена». Чтобы в связи с ними, «еще не достигшими», не возникал вопрос: «Не пора ли мужчинами стать?»

1984

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Пожары в Сосновке	3
Жить не по валу	8
Две стороны медали	12
Главы книги целой	27
«Дело моей жизни исполнено...»	32
Как дела, мужики?	33

Дмитрий Константинович ИВАНОВ

ПОЖАРЫ В СОСНОВКЕ

Редактор **М. М. Жигалова**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

Сдано в набор 24.10.85. Подписано к печати 07.01.86. А 00605.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,08. Усл. кр.-
отг. 2,28, Тираж 80 000. Изд. № 68. Зак. № 1773.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865.
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ

● Вы часто посещаете сберегательную кассу для уплаты за квартиру, коммунальные и другие услуги, что требует значительных затрат времени.

● Этого можно избежать, если Вы воспользуетесь безналичными расчетами через сберегательные кассы. По Вашему заявлению сберегательная касса своевременно перечислит со счета по вкладу нужную сумму любой организации — получателю платежа.

● Безналичные расчеты через сберегательные кассы осуществляются как в разовом порядке, так и длительное время.

● Поручение о безналичных расчетах вкладчик может дать сберегательной кассе лично либо приложить по почте. Необходимые бланки для оформления таких поручений имеются в любой сберегательной кассе.

● При посещении вкладчиком сберегательной кассы все перечисленные с его счета суммы будут записаны в сберегательную книжку.

● Пользуйтесь безналичными расчетами через сберегательные кассы! Они экономят Ваше личное время!

**Российское республиканское главное управление
Гострудсберкасс СССР**